

Ольга Карпович

Дом на
Малой Бронной



Ольга Карпович
Дом на Малой Бронной

«Карпович Ольга»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Карпович О. Ю.

Дом на Малой Бронной / О. Ю. Карпович — «Карпович Ольга»,
2017

ISBN 978-5-699-96978-4

Старый дом на Малой Бронной... Сколько всего помнят его стены – счастье и горе, встречи и расставания!.. Марина, молодая сценаристка, появилась в нем недавно, но уже успела полюбить его... Она умеет слушать и постепенно узнает о жизни своих соседей – историю слепого летчика, в юности разлученного с возлюбленной, двух женщин, любящих одного мужчину... Как много таких сюжетов знает старый Дом!

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-96978-4

© Карпович О. Ю., 2017
© Карпович Ольга, 2017

Содержание

Дом на Малой Бронной	5
Видеть	9
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Ольга Карпович

Дом на Малой Бронной

Сборник

Дом на Малой Бронной

Роман

В полутемной душной комнате плавает сигаретный дым, мерцают тусклым электрическим светом экраны за стеклом, приглушенно жужжат мониторы. Ни одного солнечного луча, никаких посторонних звуков, напоминающих о том, что могло бы происходить снаружи. Только глухая сосредоточенная тишина.

– Ну что, начнем? Готова? Не боишься? – спрашивает он.

Пожимаю плечами:

– Нет, я тебе доверяю. Ты же у нас мастер.

– Да... но я все равно всегда чего-то опасуюсь.

– Знаю, – киваю я. – Хотя ты еще ни разу не ошибся.

– Не сглазь! – обрывает он. – Я суеверный. Ладно, давай начнем.

Он наклоняется, нажимает нужные кнопки на широченном пульте... В кармане моего пиджака начинает звонить телефон. Говорю вполголоса:

– Алло? Да. Извини, сейчас не могу. Перезвони через пару часов.

Он вопросительно оглядывается. Я киваю и выключаю телефон. Экран вспыхивает, из динамика начинает звучать негромкая, завораживающая мелодия. Начинается...

* * *

Желтый, высохший с одного края лист, покружившись в стылом воздухе, опустился мне на голову. Осень, дурачась, за одну ночь перекрасила московские улицы в невиданные охристо-золотые цвета. Я брела по Тверскому бульвару, и озябшее октябрьское солнце проглядывало сквозь оранжевую листву над головой, как через забраный цветным стеклом высокий купол. За деревьями, нетерпеливо гудя и подгоняя друг друга, проносились машины, у фонтана на скамейках кучковалась развеселая студенческая молодежь. Дальше отдыхала более зрелая публика: двое старичков играли в шахматы на скамейке, седая пенсионерка выгуливала пузатого внука, с вдумчивым исследовательским интересом топившего в луже пластмассовый грузовичок. В воздухе пряно пахло желтеющими листьями, смогом, холодом и сигаретным дымом.

Мне всегда нравилось смотреть, как меняется, вслед за переменой времен года, мой город. Как с наступлением первых холодов исчезают матерчатые зонтики летних кафе, передвижные лотки с мороженым и газировкой, как в витринах появляются закутанные в меха и кожу манекены, на открытых верандах ресторанов начинают предлагать теплые шерстяные пледы, а в меню снова включают грог и глинтвейн. Грустно, конечно, лето уходит, унося с собой несбывшиеся ожидания и мечты, и во всем – в каждой дрожащей на ветру паутинке, в каждом сухом листке – чувствуется предвестие скорой зимы, медленное умирание, тление. И в то же время ощущаешь какое-то умиротворение – вот и еще один этап позади, все проходит, все возвращается на круги своя, вечно и неизменно. Осень в Москве всегда наводила мои размышления на какой-то эпический лад.

У Никитских Ворот, миновав свадебный салон с ухмыляющимися из витрины глянцево-пластиковыми невестами, я сворачиваю на Малую Бронную. Вот и мой дом, старинный, каменный, постройки конца девятнадцатого века. Четыре этажа – не нынешних, где даже не самый высокий хозяин так и норовит упереться темечком в потолок, а тех еще, старинных, в которых, чтобы поменять лампочку в люстре, нужно составить друг на друга чуть ли не всю мебель в квартире. Стены внизу похожи на пастилу – белые, нежно-шершавые на ощупь, а выше, ко второму этажу, начинаются бледно-голубые пролеты между высокими прямоугольными окнами, увенчанными резными карнизами. По углам топорщатся жестяные водосточные трубы. На первом этаже светится теплым уютным светом маленькая кофейня, на углу – красиво оформленная витрина канцелярского магазина. В окнах верхних этажей видны разноцветные занавески, цветочные горшки, мигают голубым экраны телевизоров. Если же пройти под высокой каменной аркой в маленький, закрытый со всех сторон двор-«колодец», увидишь прямоугольный палисадничек, две волнообразно изогнутые скамейки да вереницу припаркованных у подъездов блестящих иномарок.

Когда-то давным-давно, на заре двадцатого столетия, это был доходный дом для обеспеченных москвичей. В одной из дорогих квартир жила генеральша, в другой – начинающий, но уже очень модный композитор. По слухам, где-то здесь, у кого-то в гостях читал свои первые стихи юный и отчаянный Маяковский. А может, в соседнем доме, кто теперь может сказать наверняка?

Октябрьский переворот выгнал из дома его привычных обитателей, побил стекла в окнах первого этажа, заколотил фанерой парадный ход. Вскоре голубой респектабельный дом заполнился новыми жильцами, крикливыми, оборванными, из числа тех, кого в былые времена пускали только с черного хода, – прежние многокомнатные хоромы превратили в коммуналки. На просторных кухнях больше не выпекались пасхальные куличи, теперь здесь пахло щами и подгоревшей кашей, в облупленных кастрюлях кипятилось белье, а под закопченным потолком плавал влажный белесый пар.

Дом жил своей жизнью, хлопал дверями и форточками, гудел от сквозняков, меняя окраску стен. Замирал в страхе, когда, в тридцатые, слышал по ночам урчание автомобильного мотора, стихавшее во дворе. Кого-то выводили суровые люди в форме, кто-то давился безнадежными рыданиями в опустелых комнатах. Из раскрытых окон гремел сначала джаз, потом записанные «на костях» битлы, потом «итальянцы». В восьмидесятые все жильцы, озираясь, стекались по вечерам в восемнадцатую квартиру смотреть на привезенном из-за границы первом видеке «Греческую смоковницу». Женщины ахали и краснели. «Срамота!» – смачно плевался заводской рабочий Гришечкин. Сменялись старухи на лавочке у подъезда, сменялись дети, играющие во дворе. Но, в принципе, жизнь оставалась все той же, временами смешной, временами трагической красочной бессмыслицей.

Я обосновалась в доме совсем недавно, всего пару лет назад, когда старые шершавые рамы в окнах заменили стеклопакеты, когда половину квартир заново отремонтировали и распродали как «элитное жилье в центре Москвы», а в другой половине остались еще представители старого поколения жильцов. Мне сразу пришелся по душе этот древний, выдавший виды муравейник, битком набитый жизненными историями. Самой моей профессией велено было больше всего на свете интересоваться людьми, их судьбами, старыми семейными байками, полувымышленными, полуправдивыми. Новые соседи, в основном не лощеные жильцы из вылизанных квартир, а старая гвардия – нафталиновые бабки, болтливые старики, одинокие стареющие тетки и потертые заплесневелые ловеласы – словно учуяли этот интерес к чужим судьбам и набросились на меня, как на долгожданную добычу. Не знаю уж, кто пустил по дому слух, что на второй этаж въехала знаменитая сценаристка, только предложения выслушать одну занимательную историю стали сыпаться на меня чуть ли не от каждого жильца. Людям

ведь вообще свойственно думать, что именно их единственная и неповторимая жизнь достойна воплощения на бумаге или телеэкране...

Иногда, в настроении, я стоически выслушивала эти неиссякаемые потоки красноречия, иногда, не выдержав, отговаривалась занятостью или головной болью, иногда просто сбегала, делая вид, что не слышу окриков в спину. Впрочем, порой среди бесконечного соседского словесного поноса попадались забавные факты, яркие детали, а если повезет, то и целые удивительные истории. Истории, которые моя жадная до интересного натура так и мечтала утащить в свою копилку, чтобы потом, на досуге, перевернув обстоятельства и перетасовав героев, сотворить из дворовой байки закрученный сюжет. Да, люди... Самое занимательное произведение вселенной.

Я прошла под каменной аркой. Ветер, всегда карауляющий здесь прохожих, взвился мне в лицо и принялся рвать в стороны полы пальто. Во дворе дворник-таджик с лицом жестокого и надменного царя Ашурбаналы сметал в кучу красно-желтые листья. Уже у самого подъезда меня догнала Валечка.

Есть такой тип женщин, которые всегда, в какую бы компанию ни попали, через десять минут оказываются Валечками, Танюшами и Любашами. Это их свойство вызывать чуть покровительственное отношение не зависит ни от возраста, ни от социального положения. Оно врожденное и висит над ними всю жизнь как родовое проклятие. Моя соседка оставалась для всех Валечкой, несмотря на то что возраст ее приближался к восьмидесяти. Неброская, тихая, никогда не участвовавшая в дворовых склоках или праздниках, неизменно приветливая Валечка издали похожа была на мальчишку-школьника – маленькая, щуплая, лицо в мелких бледных веснушках, на голове – короткий седой ежик, а под круглыми очками – очень молодые голубые глаза. Валечка и одевалась соответственно – носила обычно какую-нибудь куцую куртку, детские шнурованные ботинки (ее крошечный размер найти можно было только в «Детском мире»). Валечка появлялась во дворе редко, никогда не выходила просто так посидеть с другими престарелыми соседками на скамейке и обсудить животрепещущие проблемы последних серий мексиканского «мыла». Обычно она спешила куда-нибудь, по делу, шла с видом задумчивым и рассеянным и редко замечала знакомых. Зато, стоило ее окликнуть, немедленно останавливалась, улыбалась искренней радостной улыбкой и старалась найти минутку перекинуться парой слов. Мне, в общем, она была довольно симпатична, особенно по сравнению с другими, приставучими и въедливыми старухами с нашего двора.

– Добрый день, Марина! – Валечкины глаза лучились той самой теплой голубизной, которой так не хватало хмурому осеннему небу. – Что-то вас давно не было видно. Уезжали?

– В больнице лежала, – отвела глаза я.

– Ох, простите, – расстроилась она. – Надеюсь, ничего серьезного? Уже поправились?

– Да, ерунда, – отмахнулась я. – Все в порядке. Кстати, если вы хотели спросить про записки Сергея Ивановича, которые я предложила отредактировать...

– Марина, мне так неудобно вас беспокоить, – смутилась Валечка. – Вы же так заняты. Я уж сто раз пожалела, что мы полезли к вам со своими просьбами...

– Да бросьте, я же сама предложила, – обреченно махнула рукой я.

Все-таки положение местной знаменитой бумагомарательницы обязывало периодически уделять внимание хотя бы некоторым, наиболее приятным мне соседям.

Валечка расцвела:

– Правда? Вам в самом деле это не трудно? Вы понимаете, это ведь так, для семейного пользования. Просто, когда Сергей перестал выходить из дома, он очень мучился, скучал, потерял интерес к жизни, и дети придумали для него такое занятие, попросили написать, так сказать, что-нибудь для потомков... И он как-то сразу взбодрился, серьезно подошел к этому делу. Мужчине ведь очень важно, чтобы всегда было дело, иначе он начинает чувствовать себя бесполезным, ненужным... А тут такая большая работа! У нас она несколько месяцев заняла:

он диктовал, я записывала. Теперь, если удастся привести эти записки в порядок, напечатать в нескольких экземплярах, чтобы подарить внукам, Сережа будет просто счастлив.

Она невольно подняла глаза к четырем окошкам в третьем этаже, за одним из которых находился сейчас ее муж, Сергей Иванович Сафронов, которому в последний год врачи запретили выходить из дома. И тут же смутилась, отвела глаза. Можно было подумать, что передо мной не много лет прожившая в браке пожилая женщина, а юная новобрачная, волнующаяся за своего жениха и в то же время боящаяся показаться смешной и назойливой окружающим.

– Конечно, Валечка, приносите заметки сегодня же. Мне будет совершенно не сложно, даже очень интересно, – заверила ее я.

И Валечка, обрадованная, заспешила куда-то по своим делам, пообещав принести записки вечером. Она и в самом деле не заставила себя ждать, к ночи пухлые школьные тетради, исписанные ее мелким аккуратным почерком, оказались уже у меня. Вверху страницы выведены были даты, иногда точные, иногда примерные, временами рядом с обозначением года пририсован вопросительный знак. Сергей Иванович излагал факты своей биографии предельно четко, видно, что старался упомянуть детали, приметы времени, вспомнить и воспроизвести свою реакцию на события, мысли, чувства тех лет. Конечно, его повествование было довольно сухим, лишенным образных ассоциаций и скорее напоминало дневник, чем захватывающую повесть о жизни, довольно размеренной, но сделавшей вдруг, неожиданно для самого главного героя, крутой вираж. Но и этого достаточно для меня, сказочницы и выдумщицы, чтобы разыгралась фантазия. За короткими рублеными предложениями, неловкими, непрофессиональными описаниями вставали люди, пылкие и сдержанные, любящие и ненавидящие, не всегда честные и отважные, порою проявляющие слабости и сомнения, но всегда живые, настоящие, чувствующие.

Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы, аккуратно перепечатавая воспоминания старика, машинально правя ошибки и неточности, вылепить целую историю, украсить деталями и наполнить жизнью. Таково уж мое ремесло.

Видеть

– Папуля, чего ты от меня хочешь? Чтобы я ушла с работы, бросила детей и поселилась тут у тебя?

Раздраженный голос дочери неприятно звенел в висках. Лицо под бинтами саднило и зудело, он едва удерживался от желания сорвать эти присохшие тряпки и разодрать кожу в клочья. Особенно выводило из себя, что он не мог различить лица говорящей и только по звуку голоса, перемещавшемуся то вправо, то влево, представлял, как располневшая Шура, тяжело переставляя ноги, возмущенно курсирует вокруг его кровати.

– И чего тебе не лежалось в больнице-то? Там врачи, медсестры, уход правильный... Все тебе на блюдечке. Так нет же, устроил скандал – забирайте меня домой, я здесь не останусь. А кто будет перевязки делать, уколы, кто ухаживать будет, об этом ты подумал? Ты же слышал, что доктор сказал: ожоги третьей степени, бинты снимут не раньше чем через два месяца, да и то еще неизвестно...

– Что неизвестно? – гулко переспросил он.

– Ничего, – буркнула Александра. – Ну, просто неизвестно, как скоро все заживет, зависит от личных особенностей организма.

«Ясно, – понял он. – Неизвестно, восстановится ли зрение, она хотела сказать. Господи, надо же было так вляпаться... Мало того что сам лежишь как бревно, никчемный, бесполезный кусок мяса, так еще и близким такая обуза. Какому уроду понадобилось меня вытаскивать? Почему не дали просто сгореть вместе с самолетом? Милосердие, мать твою, гуманизм... Этих бы гуманистов вот так обмотать тряпками да приковать к постели на радость детям».

Он почти не помнил аварии, только отдельные, яркие, как вспышки, воспоминания. Перекошенное лицо второго пилота, трясущиеся руки стюардессы Лены, запах горящего керосина. Так бывает, сильный выброс адреналина, тяжелые травмы... Потом уже, по обрывкам фраз родных и знакомых, навещавших его в больнице, понял, что при посадке загорелась турбина самолета. Это случается, никто не застрахован. Может, птица попала или еще что-то. Он провел аварийную посадку, благополучно посадил самолет, но предотвратить разлив топлива не удалось. Начался пожар. Пассажиров успели эвакуировать, никто не пострадал. Но пока дело дошло до высадки экипажа, огонь перекинулся на корпус самолета. Бортпроводников и второго пилота успели вытащить, собственно, тяжелые травмы получил только он. Что ж, могло быть и хуже. Конечно, теперь, как и положено, начнется расследование, поиск виноватых. Возможно, окажется, что случившееся – его вина. Интересно, какое наказание впаяют слепому с перемотанной башкой?

– Такая хорошая аэрофлотовская больница, – продолжала сетовать Шура. – Ну, чем они тебе там не угодили, скажи на милость?

– Да просто хотелось бы отдать концы дома, не отходя от кассы, так сказать, – мрачно изрек он.

– Господи, папа, ну что ты говоришь, – охнула дочь и осела на край его постели.

Он услышал, как гулко ухнули под ее весом пружины, а затем ощутил легкое, крайне осторожное прикосновение к бинтам на щеке. Должно быть, Александра его поцеловала. Проклятье, даже этого он не мог знать наверняка. Если бы хоть нос не был замотан тряпками, он мог бы понять по запаху...

– Ну конечно, ты не умрешь, – уверяла Шура. – Александр Петрович, доктор, сказал, что опасности для жизни нет. Просто нужно терпение, полный покой, соответствующий уход – и все будет хорошо.

«Конечно, не умру, – думал он. – А жаль... Это так бы все упростило».

– Папа, ты пойми, я не могу все бросить и переселиться к тебе, на другой конец Москвы. И Гриша не может бросить семью. Поэтому мы и решили нанять сиделку. Мы, конечно, будем навещать тебя каждый день. Или через день. Нужно, чтобы кто-то находился здесь постоянно.

– Совершенно не нужно! – грубо оборвал он. – Я все могу делать сам!

– Можешь, как же, – хмыкнула Шура. – Я вчера на полчаса вышла в магазин, так ты за это время успел оступиться и упасть в коридоре. Скажи, вот зачем тебе понадобилось вставать? Не мог подождать, пока я вернусь? А еще хочешь, чтоб я тебя на целый день одного оставила...

До чего неприятен тон дочери: разговаривает с ним, как с трудным, непонятливым ребенком. Господи, ведь еще несколько недель назад он был самостоятельным взрослым человеком, не таким, конечно, сильным, как в молодые годы, но вполне уверенным в себе, твердым, иногда даже излишне жестким. Тогда он никому бы не позволил беседовать с ним в таком тоне, принимать решения поверх его головы. А теперь... Проклятая катастрофа разом превратила его в жалкое существо, ничтожный человеческий хлам, которым, не стесняясь, помыкают собственные дети.

– Валентина Николаевна – прекрасный человек, очень чуткий, заботливый. К тому же профессиональная медсестра. И поверь, мне ее очень рекомендовали. Она не будет тебе досаждать, ты ее даже и не заметишь! Просто поможет, если нужно, поесть приготовит, сменит повязки. Ну правда, пап, я же о тебе только думаю, а ты сердишься! – обиженно прогудела Александра.

Он поднял руку, на ощупь нашел ее лицо, погладил по щеке, выговорил с трудом:

– Я не сержусь, дочка! Ты права. Пускай приходит сиделка...

Конечно, она права, разумеется, права. Ему просто невыносимо признать, что он не способен больше на самостоятельную жизнь, зависим от чужой помощи. Боже мой, мука какая!

– Ну вот и славно, я позвоню, чтобы завтра с утра она была здесь, – обрадовалась Александра. – Пап, ну правда, не злись на нас. Мы так тебя любим!

Она наклонилась и прижалась головой к его плечу. Он хотел погладить ее по голове, но ладонь сначала наткнулась на широкую спину, потом на плечо и лишь затем нащупала мягкие, как у матери, волосы. Рука тоже была забинтована, но рука – это ерунда. Даже если чувствительность восстановится не на сто процентов, с этим можно жить. А вот глаза...

Сиделка явилась на следующий день.

– Познакомься, папа, это Валентина Николаевна, – объявила Шура и замолчала.

Хоть бы подвела ее поближе к кровати, описала как-то. Интересно, как он должен с ней познакомиться, если ни хрена не видит?

– Здравствуйте, Сергей Иванович, – произнес рядом с ним мягкий, довольно молодой голос.

И ему отчего-то стало не по себе. Станный какой-то голос, тревожащий, хотя сам по себе не неприятный. Просто как будто бережит что-то внутри, больное, старое, такое, что лучше и не тревожить.

– Здравствуйте! – отозвался он. – Извините, я не могу подняться, врачи не рекомендуют лишней раз...

– Я знаю, – улыбнулась она. Ему показалось, что она улыбнулась. – Вы отдыхайте, а я пойду на кухню, займусь обедом. Если что-нибудь понадобится, позовите.

Он почувствовал, как к руке прикоснулись тонкие прохладные пальцы. Должно быть, сиделка чуть наклонилась к нему, потому что он почувствовал, что пахнет от нее чистым отглаженным медицинским халатом и лекарствами, анисовой микстурой от кашля. Легкие шаги простучали в сторону коридора, и он спросил у Шуры:

– Сколько ей лет?

– Папа! – зашипела дочь. – Как тебе не стыдно? Она еще не успела отойти, наверно, услышала! Не знаю, как тебе, наверно, может, чуть старше.

– Странно, – удивился он. – А голос молодой.

– Ну так она же не училка, связки особо не напрягала, наверно, вот и сохранился, – предположила Шура. – Ладно, папусик, я побегу, не скучай.

Она коснулась губами его лба – впрочем, он почти не почувствовал прикосновения, тяжело протопала на кухню, показала сиделке, где что лежит. Потом в прихожей зашелестел ее болоньевый плащ, глухо стукнули сброшенные тапочки, чавкнула входная дверь – Шура ушла.

Валентина Николаевна столкнулась с ним в коридоре, когда он, держась руками за стену, пробирался к ванной комнате, охнула:

– Вы куда? Почему меня не позвали?

Она попыталась подхватить его под руку, и он раздраженно рявкнул:

– Отойдите от меня! Дайте пройти!

– Вам в туалет нужно? – не унималась она. – Давайте я провожу! Там кафель, вы можете поскользнуться.

– Оставьте меня в покое, ясно вам? – раздраженно бросил он, ускорил шаг и наконец добрался до угла, сделал несколько осторожных шагов вперед и наткнулся на тяжелую деревянную дверь уборной. Потянул ее на себя, дверь не поддавалась. Он потянул сильнее, в нетерпении рванул за ручку.

– Подождите, там крючок! Я сейчас открою, – вызвалась Валентина Николаевна.

– Вы все еще здесь? – взревел он. – Идите на кухню, отвяжитесь от меня! И не смейте больше закрывать дверь на крючок! Это не ваша квартира, чтобы заводить здесь свои порядки!

Он сам дотянулся до крючка, отцепил его и смог, наконец, открыть дверь.

– На крючок закрыла Шура. Извините, в следующий раз я прослежу, чтобы не закрывала, – отозвалась Валентина Николаевна.

Ему сделалось стыдно за свою резкость, нетерпимость. В самом деле, эту женщину наняли для того, чтобы за ним ухаживать. Она всего лишь пытается добросовестно делать свою работу, а он срывается, как маразматический старик. Выйдя из уборной, позвал:

– Валентина Николаевна, вы здесь?

– Да, – откликнулась она откуда-то сбоку. Должно быть, сидела на скамейке, под вешалкой, ждала его, чтобы ненавязчиво проследить, как он доберется до комнаты.

– Валечка, вы позволите вас так называть? – пытаюсь казаться любезным, обратился к ней он. – Вы простите меня, ради бога! У меня нет к вам никаких претензий, мне просто очень трудно... Я не привык быть больным, немощным, понимаете? За всю жизнь болел всего-то несколько раз.

– Повезло вам со здоровьем, – заметила она.

Приблизилась к нему и пошла рядом, медленно, подстраиваясь под его осторожные шаги, касаясь его плечом, чтобы он мог ощущать направление движения. «Какая она маленькая! – отметил он. – Плечо чуть ли не на уровне моего локтя, больше чем на голову меня ниже».

– Да, здоровье прекрасное было всегда, – согласно кивнул он. – Потому и не привык, чтобы дома медицинский персонал крутился. Нет, однажды, правда, ко мне ходила медсестра уколы делать, но больше тридцати лет назад, я совсем мальчишкой был. Кажется, тогда единственный раз за всю жизнь серьезно болел... Так что, вы понимаете, опыта у меня никакого, а терпения еще меньше. Вы уж не обижайтесь!

– Я не обижаюсь, – ровно ответила она. – Это моя работа. Вот и ваша комната, ложитесь. Давайте я вас укрою, а то дует из форточки.

Он опустился на постель и прикрыл глаза. А ведь действительно, похоже, единственный раз в жизни серьезно болел тогда, в свои семнадцать, когда подхватил воспаление легких. Уди-

вительно, сколько лет прошло, а он как сейчас ощущает тот резкий живительный запах весны, кипящей соками земли, первой молодой зелени, воды и нагретого солнечными лучами воздуха, видит лица дворовых друзей – Толяна, белобрысого, с коротким веснушчатым носом, и чернявого Борьку, и чувствует в груди то томительное, теснящее ребра, кружащее голову острое желание жить.

Вспомнился маленький военный городок в Узбекистане, недалеко от Ташкента. Запах узбекского базара, на входе – ротонда, под огромным куполом, и уже отсюда окутывает как дымом – ароматами зелени, горячих лепешек, разнообразных овощей, сочащихся медом фруктов, свежей баранины – плотный, вязкий, насыщенный запах самой жизни.

Удивительно, что тогда в голове крутилась та же мысль: «Нужно ж было так вляпаться!» Конец учебного года, на носу выпускные экзамены, а потом, потом – долгожданная свобода, никаких тебе больше звонков, контрольных, тетрадок! Совершенно самостоятельная взрослая жизнь. И, если повезет и сбудутся все его мечты, – Москва, точнее, не Москва, а Московская область, ну это почти одно и то же, а главное – летное училище. С самого детства он грезил самолетами, изрисовал кучу бумаги белыми, грациозными стальными птицами, в плохонькой местной библиотеке изучил все материалы о сталинских соколах, страшно горевал, что война кончилась, когда он был десятилетним мальчишкой. Родись он хоть на десять лет раньше, непременно успел бы побомбить с самолета проклятых фашистов. Сколько раз видел во сне, как держит в руках штурвал, отрывает самолет от земли и мчится прямо в распахнутое перед ним насыщенно-синее высокое небо.

И вот теперь из-за идиотской простуды все может покатиться к чертовой бабушке. Не поднимется вовремя, не сдаст экзамены, останется на второй год – и прощай заветная мечта до следующего лета. Целый год! Ведь это же сдохнуть можно, пока дождешься!

Температура не спадала уже который день, голова, жаркая, тяжелая, чужая, гудела, как колокол, перед глазами колыхалось сонное марево. Доктор из медсанчасти прикладывал к спине холодное, слушал внимательно и заверял, что нужно везти в город, в больницу, колоть пенициллин внутримышечно. Мама рыдала и заламывала руки:

– Не надо в больницу! Там его угробят! Неужели нельзя договориться об уколах на дому? Ваня! – теребила она отца. – Ну, сделай что-нибудь! Ты же командир части!

– А почему не в больницу? – раздражался отец. – Ты его до армии опекать будешь? Он уже не ребенок, взрослый мужик. Как-нибудь справится без твоих харчей!

А все-таки пожалел мать, расстарался, достал где-то нужное количество ампул и договорился с медсестрой из соседнего поселка, чтобы приходила дважды в день колоть.

Медсестра явилась на следующее утро. Он слышал, как мать шепталась с ней в прихожей, наверное, совала деньги, а та отказывалась. Потом обе зашли в его комнату.

– Вот, Сережа, познакомься, это Валечка Морозова, она будет тебе уколы делать, – представила мама.

Он продрал глаза, неохотно выныривая из мутного горячего полузабытья, потряс головой. Ничего себе медсестра! Малявка какая-то, девчонка! Особенно на фоне дородной важной матери. Худые голые коленки торчат из-под старенького застиранного ситцевого платья, темно-рыжие, пышные мелко вьющиеся волосы косами уложены вокруг головы, светятся солнцем, как оранжевый нимб, на носу веснушки, а глаза синющие и ясные. И эта пигалица будет его лечить?

– Привет, Сережа, ты, что ли, тут больной? – звонким пионерским голосом отчеканила девчонка. – Небось симулируешь, чтобы в школу не ходить, а? Ничего, мы тебя быстро на ноги поставим, оглянуться не успеешь, как опять за партой окажешься. Ну-ка, поворачивайся на живот, сейчас сделаем укольчик.

Чего? Это штаны, что ли, стаскивать перед этой козьявкой? Да ни за что! Он упрямо натянул одеяло до подбородка, хотя в комнате и без того было жарко. Еще только май, а уже

дышать нечем, вот же проклятая азиатчина! И угораздило отца, героя войны, чем-то провиниться перед начальством и загреметь в эту глушь.

– Сережа, ну что ты, не бойся! Это совсем не больно, – забеспокоилась мать.

Неудобно, наверно, было, что великовозрастный сынок вздумал капризничать, отнимать время у занятой медсестрички, которая и так-то по большому одолжению согласилась к ним ходить. А девчонка эта смешливая, наверно, уже готовится какую-нибудь шуточку отпустить.

– Я не боюсь, – буркнул он. – Дайте шприц, я сам сделаю!

– Ну что ты такое говоришь, – заохала мать.

А Валя зыркнула на него и обернулась к матери:

– Татьяна Никифоровна, вы не беспокойтесь, идите себе отдыхайте, мы тут сами разберемся. А то вы, по-моему, больше Сережи нервничаете, если так пойдет, мне и вам укол делать придется.

Она засмеялась просто, открыто. И мать, обычно надутая, на всех глядящая свысока, тоже не смогла удержаться от улыбки, вздохнула:

– Да уж, эти дети... Так за их здоровье переживаешь, что того и гляди сама сляжешь, – и вышла из комнаты.

А медсестра присела к нему на краешек постели, наклонилась, и он почувствовал ее запах, свежий, прохладный, как будто только что, перед тем как войти в его комнату, она умылась ключевой водой. Стало отчего-то еще жарче, во рту пересохло. Он отвел глаза, угрюмо уставился в стену. Медсестра несколько секунд молчала, а потом спросила, указав на болтавшуюся под потолком модель самолета:

– Это ты склеил?

– Угу, – кивнул он.

Модель, если честно, была здоровская, отец привез набор из командировки в Москву. Пацаны просто позеленели от зависти, никто такого чуда еще не видывал.

– Легчиком, наверно, стать хочешь, угадала? – понимающе кивнула медсестра. – Молодец! Смелый! А медосмотр перед училищем как проходить будешь? Там ведь тоже женщины-врачи есть.

Он смущенно дернул плечами. Догадалась, значит, чего он упирается. Ишь, сообразительная!

– Пойми, Сереж, мы – медработники – несчастные люди, для нас человек представляет прежде всего медицинский интерес. Вот иногда, знаешь, видишь такого здоровяка, кровь с молоком – и даже неинтересно с ним разговаривать, никакой загадки в нем нет, даже диагноза не поставишь, – она лукаво улыбалась, и он тоже не смог удержаться, усмехнулся. Очень уж забавно она все это ему доказывала, вроде бы на полном серьезе, а глаза смеются. – Так что ты для меня и не мужчина вовсе, а просто организм, интересная задачка, которую надо решить, понял? И ни на что я там смотреть не буду, быстро сделаю укол, и все. Договорились?

Ее слова неприятно задела. Пациент, значит? Не мужчина? Ну и пошла она! Что, в конце концов, он мнется, как девочка. Сердитый, обиженный, красный от идиотского чувства неловкости, он перевернулся на живот и чуть сдвинул вниз спортивные брюки. Зарылся лицом в подушку, как будто спрятаться хотел от этих ее пронизательных глаз. Услышал, как щелкнул замок медицинского саквояжа, ощутил прикосновение быстрых ловких пальцев. Его в то же мгновение дернуло, словно током, скрутило. Он испугался, что она заметила, еще сильнее вжался лицом в подушку. Холод от спирта на коже, короткая щиплющая боль от укола и спокойный голос Вали:

– Ну вот и все.

– До свидания, – буркнул он, не оборачиваясь.

Решил, что так и останется лежать, лишь бы не встречаться с ней глазами.

– Да я вечером еще зайду, не успеешь соскучиться, – пошутила она. – Ну привет, больной, давай выздоравливай!

И вдруг – он снова вздрогнул от неожиданности – ее рука, маленькая, сильная, с чистыми, остриженными под ноль ногтями, легко коснулась его спутанных волос, погладила, коротко и нежно, и исчезла. Дверь за Валею захлопнулась.

Вечером зашел сын, Гриша. Сергей Иванович слышал, как сын опустился на стул рядом с кроватью, пытался представить себе, как тот сидит, ссутулив плечи, машинально потирая кончиками пальцев короткую, чуть курчавую бородку. Пытался вспомнить внешность сына в мельчайших деталях, но его облик ускользал, лицо то ясно вставало перед глазами, то затуманивалось, исчезало, и вот он уже не мог припомнить точно, у какого глаза у Гриши родинка. От бесплодных усилий разболелась голова, одолело отчаяние. Неужели он теперь лишен этого навсегда, неужели никогда больше не увидит лица своих детей, внуков? Господи, раньше казалось, живешь слишком скучно, неинтересно, и только сейчас он осознал, какое счастье – просто жить, быть здоровым, полноценным человеком.

– Как сиделка? Не досаждают? – спросил Гриша.

Сергей Иванович неопределенно повел головой. Из-за этих ожогов все лицо онемело, он даже мимики нормальной лишен. А впрочем, ее все равно не видно было бы под бинтами.

– Хорошая женщина, вежливая, старательная, – ответил он. – Но, ты же понимаешь, чужой человек в доме. Неприятно!

Он не опасался говорить громко: Гриша предупредил, что отпустил Валентину Николаевну по делам на время своего визита. Сын побродил по комнате, не зная, куда себя приткнуть, щелкнул кнопкой телевизора. Траурно взвыли трубы, трагический голос диктора продекламировал:

– Сегодня весь советский народ понес тяжелую утрату.

– О, еще кто-то окочурился, – хохотнул Гриша.

– Да ну его, выключи, – сердито махнул рукой Сергей Иванович. – И без того тошно.

– Пап, а может, тебе к нам переехать? – предложил сын. – Нам всем проще было бы. Тебе – уход, внимание, внуки опять же – все-таки веселее, чем одному целыми днями лежать. А нам не мотаться через всю Москву каждый день.

– Я вас с Шурой, кажется, не прошу ко мне мотаться, – сухо отозвался он.

Едкая обида сдавила горло. Вспомнилось, как он ночь напролет ходил по этой самой комнате, укачивая маленькую Шуру. Малышка совсем не могла спать, болели уши, и только у него на руках успокаивалась и затихала. Интересно, что, если бы он предложил тогда жене: «Давай сдадим ее в больницу. И ей уход, и мы хоть выспимся»?

– Ну при чем тут прошу – не прошу, – досадливо бросил Гриша. – Ты пойми, мы же взрослые люди. У нас семьи, работа... Мы же хотим как лучше.

– Я никуда не перееду! – упрямо отрезал он. – Это мой дом, я прожил тут двадцать пять лет, здесь мои дети родились, здесь умерла моя жена, ваша мать. Я привык тут жить и не собираюсь в старости становиться приживальщиком.

– Ну почему приживальщиком, – нетерпеливо прервал его Гриша. – Ты нам совсем не помешаешь, наоборот... Я говорил с женой, она не против.

«Значит, не против, да? Конечно, куда ж ей деваться. Откажешься приютить престарелого свекра-инвалида – тебя сочтут бесчувственным монстром. Только и остается, что принять на хлебника в свой дом, глубоко внутри ненавидя мерзкого старикашку за то, что никак не сподобится отдать концы и облегчить близким жизнь».

– Я останусь здесь – и точка. Не желаю больше говорить об этом, – грубо оборвал он. – И буду очень признателен, если вы с Александрой оставите меня в покое и прекратите сюда, как ты выражаешься, мотаться!

– Ну, знаешь! – взорвался Гриша. – С тобой невозможно. Мы с Шуркой бьемся, как рыба об лед, чтоб только ты не чувствовал себя одиноким и ущербным. Из больницы тебя забрали, сиделку нашли, навещаем каждый день. А вместо благодарности сплошные претензии. То не так, это не этак. Ты как ребенок, честное слово! За что ты нас изводишь, мы же не виноваты в том, что с тобой случилось!

– Ну и убирайся отсюда, раз так! – злобно закричал он. – И сестре своей передай, чтоб духу ее тут не было. Мне все это не нужно! Обойдусь!

– Ну и пошел ты, – буркнул сын.

Он слышал, как отлетел в сторону стул, Гришины шаги протопали в коридор, хлопнула дверь. Злость клокотала внутри, черная, не имевшая выхода, удушливая злоба – не на детей, скорее на себя самого, на судьбу, посмеявшуюся над ним, обрекшую на такое положение. Гриша прав, он совсем дошел со своими жалобами. Никчемный одинокий инвалид, злобный и желчный. Обуза для детей, вечно требующая финансовых и моральных затрат. И сколько это будет продолжаться, никто не знает. Доктор в больнице сказал, что сердце у него хоть куда, сто двадцать лет простучит. Кто бы мог подумать, что можно так попасться в ловушку собственного крепкого организма? Другой бы, может, не выдержал, скончался от шока, от потери крови, ему же – хоть бы хны, вот и доживай теперь свой век бесполезным беспомощным овощем. А впрочем, тут ведь тоже есть выход. Это решение он, кажется, еще в состоянии принять сам.

Он тяжело поднялся на постели, спустил ноги, нашарил под кроватью тапочки. И сам себе рассмеялся: собирается покончить со всем этим, а все еще заботится о здоровье, вот что значит привычка. Ощупью добрался до окна, нашел шпингалет, с силой надавил на металлический штырек. Какая удача, что Гриша сбежал от него раньше времени и сиделка еще не пришла. К черту, к черту это все! Лучше уж вообще не жить, чем так...

Он рванул на себя тяжелую раму. Четвертый этаж, потолки больше трех метров, должно быть, достаточно, чтобы черепушка раскололась об асфальт. Интересно, что там, по ту сторону. В бога он не верит, а все же неприятно думать, что впереди только черная пустота, ничто, уж лучше бы в самом деле райский сад и вечная молодость.

Старая разошедшаяся рама затрещала и отчего-то застопорилась. Он рванул еще раз и еще. Дрогнули стекла, закрипело дерево, в лицо пахнуло сырым весенним запахом, но рама больше не поддавалась, распахнулась лишь на узкую щель, куда и ладонь просунуть сложно. Что же делать? Высадить стекло? Опасно! Он ведь не видит, еще рассадит вену, грохнется в обморок от потери крови, а потом, конечно, откачают и запихнут в дурку, как и всех неудачливых суицидников. Нет, нужно действовать наверняка.

Он принялся изо всех сил отчаянно дергать на себя ручку. Задыхаясь, торопясь успеть, пока не помешали, не остановили. Окно не поддавалось, не желало распахиваться. В отчаянии он застонал, заревел, как подстреленный зверь, стукнулся лбом о стекло. Горло душили сухие спазматические рыдания. Жалкий инвалид, немощный старикашка! Даже на это не способен, слабак! Тряпка!

В прихожей хлопнула входная дверь, через минуту в комнате уже была Валя. Постояла несколько мгновений на пороге, оценивая ситуацию, потом сказала просто:

– А это вы хорошо придумали – окно открыть. На улице совсем весна, солнышко, снег тает. А тут дышать нечем.

Не догадалась, значит. Слава богу, обошлось без слезливого сочувствия и неискренних заверений, что у него вся жизнь еще впереди, рано отчаиваться.

– Да, я проветрить хотел, – глухо выговорил он. – Но почему-то окно открыть не смог...

– Я сейчас помогу, – она подошла, он почувствовал легкое прикосновение ее плеча, знакомый медицинский запах, – тут у вас гвоздь в раму вбит сверху, он мешает открыть. Вы мне скажите, где у вас плоскогубцы, я принесу.

Гвоздь! Ну конечно! Сам же вбил когда-то, много лет назад, когда в этой комнате спали дети, а жена боялась, что они из озорства откроют окно да вывалятся на улицу. Тогда он и вогнал его наполовину в раму, да еще загнул для верности, чтобы нельзя было распахнуть окно во всю ширь. Идиот, как он мог забыть об этом?

Валя уже стояла рядом, возилась с плоскогубцами. Потом поцокала языком:

– Не получается, сил не хватает. Может, вы?

Она вложила в его руку обмотанные изолентой рукоятки инструмента. Легко взяв его за локоть, подвела руку к гвоздю. Он ощупал гвоздь пальцами, ловко ухватил его плоскогубцами, потянул на себя. Гвоздь легко поддался и выскочил. И тут же окно распахнулось, и в комнате легче стало дышать.

– Ну вот и славно, – сказала Валя, и по голосу он услышал, что она улыбается. – Свежий воздух! Как хорошо!

– Вот и славно, – повторил он, думая про себя: «Надо же, что-то еще могу. Вот ведь, справился с гвоздем. Смешно, конечно, такая мелочь, а воспринимается теперь как победа над собой».

На душе стало легче, светлее. Он опустился на край кровати, стараясь отдышаться, глубже вдохнуть весенний воздух. И отчего-то сказал:

– Знаете, я вдруг вспомнил. Ту женщину, медсестру, которая делала мне уколы однажды, когда я болел пневмонией, тоже звали Вале́й, как вас.

– Неудивительно, – отозвалась она. – Это было популярное имя.

– М-да... – неопределенно промычал он. – И мне отчего-то кажется, что вы на нее похожи. Не знаю, голосом, что ли, хотя тембр у вас чуть-чуть ниже, или интонациями.

– Это, наверно, профессиональное, – ответила Валя, и по голосу ему показалось, что она улыбнулась.

Валя была веселой, заводной, все время что-то напевала себе под нос. Мать, наконец-то убедившаяся, что чадо пошло на поправку и не нуждается больше в ее опеке, вернулась на работу и утром, отправляясь в продуктовый магазин, где служила бухгалтером, сына не будила, а дверь оставляла лишь прикрытой, чтобы ему не приходилось выскакивать из кровати, когда придет Валя делать укол. Собственно, в их военном городке двери и так-то почти никогда не закрывали – чужих ведь нету, а робкие новобранцы воровать к командиру части не пойдут. И Сережа долго по утрам валялся в сладком полусне, окончательно просыпаясь, только когда в прихожей хлопала дверь и слышен был звонкий, радостный голос, напевавший какое-нибудь: «Легко на сердце от песни веселой». И ведь надо же, такая бодрая, как будто и не поднялась чуть свет, чтобы успеть еще перед работой в местной больнице забежать к нему сделать укол.

Он лежал, прислушиваясь к ее голосу, к шорохам в прихожей, и в груди теснилось радостное нетерпение: вот сейчас она войдет, сейчас, сбросит пыльные сандалии, помоеет руки в ванной и заглянет в комнату – смешливая, синеглазая, золотая. Она приходила дважды, утром и вечером, и весь долгий томительно-жаркий день для него наполнялся ожиданием. Он смотрел на стенные часы и отмечал про себя: «Два часа назад она была тут. Осталось еще семь часов до того, как придет снова». Он давно уже перестал злиться на нее, теперь в эти их короткие торопливые встречи они успевали поговорить обо всем на свете. Валя с интересом слушала о его планах, мечтах об авиации, расспрашивала обо всем и только однажды рассердилась, когда он высказал сожаление, что никакой приличной войны, на которой он смог бы проявить себя как ас, не намечается.

– Ты совсем дурак, что ли? – взбеленилась она. – Войны ему не обеспечили! О славе мечтаешь, о наградах? Они, знаешь, только на могильных памятниках хорошо смотрятся.

– Не всех же убивают, – возразил он. – Вот отец мой даже ни разу ранен не был.

– Командиров редко, да, – кивнула она. – Но до высокого чина надо еще успеть дослужиться. А у меня вот брат на фронте погиб, старший...

– Извините, – смущенно потупился он. – Я не знал.

Он испугался, что расстроил ее, что она сейчас заплачет. При одной мысли о том, что ее веселое радостное лицо сейчас исказится, скривятся губы, наполнятся слезами синие глаза, и все это по его вине, сделалось отчего-то до того горько и паршиво на душе, так, кажется, и вломил бы самому себе по морде. Но Валя лишь качнула увенчанной золотисто-рыжей коронной головой и вздохнула:

– Эх ты, дурачок! Ничего-то ты еще не знаешь...

И тут же горечь сменилась обидой: она совсем не принимает его всерьез, держит за какого-то мальчишку-несмышленища. А ведь он так ее... уважает.

Как-то ранним вечером Валя, как обычно, вошла к нему в комнату и, отдуваясь, отерла лоб тыльной стороной ладони.

– Привет, болезный! Как ваше ничего? – спросила она и, не дожидаясь ответа, пожаловалась: – Уф, ну и жара. У нас в отделении вообще парилка, целый день марлю водой мочили и на окна вешали, чтоб хоть чуть-чуть попрохладней. И только май месяц ведь! Два года тут живу, а никак не привыкну.

– А вы где раньше жили? – спросил Сережа, садясь на постели, подтягивая колени к подбородку.

– В Москве, – улыбнулась она, доставая из саквояжа шприц и загоня иглу в ампулу. – Ну давай, ложись, что ли, укол будем делать.

Он привычно перевернулся на живот, чуть сдвинул пояс спортивных брюк. Странно, уже почти неделю она делает ему уколы, а его до сих пор охватывает смущение, и в теле словно тугая пружина закручивается, когда ее пальцы быстро, легко касаются кожи.

– На Пречистенке, – добавила она, легко, почти безболезненно вводя иглу под кожу.

– Правда? – обрадовался он, перевернулся, оправил одежду. – А я тоже в детстве в Москве жил, на Арбате. Это потом уже, когда война началась, нас с мамой в эвакуацию отправили, в Казахстан. Я радовался, интересно было. Я же не знал тогда, что мы домой уже никогда не вернемся. Отца после войны сюда назначили, командиром части, и мы прямо из эвакуации сюда приехали. Мама, правда, надеется, что его все-таки когда-нибудь переведут в Москву...

– Ну ты-то ведь и так скоро Москву увидишь, когда учиться поедешь, – заметила Валя. – Эх, счастливый... А мне знаешь чего здесь больше всего не хватает? Мороженого! Помнишь, продавщица зачерпнет такой белый кругляшок специальной ложкой, сдвигает по бокам двумя круглыми вафлями, идешь потом по бульвару, облизываешь. Мы с девчонками, когда в меде учились, всегда, как сдадим экзамен, бежали мороженое есть.

– Да, здесь мороженого не бывает, – подтвердил Сережа. – Я уж и забыл, когда ел его в последний раз. А вы почему из Москвы уехали?

– Много будешь знать, скоро состаришься, – отшутилась Валя и вдруг нахмурилась. – А ты чего это такой красный, не температуришь, случайно? Ну-ка дай потрогаю!

Она подошла ближе и наклонилась к нему. Сережа замер, боясь вздохнуть, только смотрел на нее затравленно, не шевелясь. Прохладные губы коснулись его лба, мелькнул в вырезе платья белый край нижнего белья. Сердце подскочило, заколотилось в горле, кровь отхлынула от лица. Почти не соображая, что делает, он потянулся к ней и неловко, неумело коснулся губами ее яркого рта. Жадно вдохнул запах ее волос, пряный, солнечный, пьянящий, ощутил, как дрогнули, коснувшись его щеки, ресницы, не в силах унять дрожь в пальцах, стиснул ее худенькие, обтянутые легкой белой блузкой, плечи. Но Валя вдруг отстранилась, с силой оторвала от себя его руки, замотала головой, жарко шепча:

– Не надо, Сережа, милый! Ну, прошу тебя, не надо!

И в ту же секунду в прихожей хлопнула дверь, раздались тяжелые грузные шаги матери, и Валя, подхватив саквояж, вылетела из комнаты. Он испугался, что сейчас она нажалуется маме, та придет в ужас, начнет его стыдить, охать. Но Валя лишь перебросилась с Татьяной Никифоровной парой незначительных фраз и убежала.

Ночью он не мог уснуть. Ворочался на постели, наконец вскочил, подошел к окну. Военный городок спал, мирно чернели окна – и в одинаковых кирпичных домах офицерского состава, и в приземистых одноэтажных казармах. В небольшом пыльном сквере напротив дома смутно белел сквозь густую листву гипсовый бюст Ленина. Слабо светило вдалеке окошко прачечной, и далеко впереди, там, где располагался КПП, тоже мерцал огонек. Опрокинутый на спину азиатский месяц, желтый и сочный, как ломтик дыни, покачивался посреди черного неба. Лунные блики ложились на застекленные портреты, рядком выстроившиеся на Доске почета. Во дворе слабо шелестела широкими резными листьями чинара.

Сережа сжал руками горящий лоб. Что он наделал? Что теперь думает о нем Валя? Сидит сейчас, наверно, с какой-нибудь подружкой и смеется над нелепым влюбившимся в нее школьником. А может, у нее вообще жених есть, может, они вместе в эту минуту над ним зубоскалят. Он коснулся пальцами губ, как будто пытаясь вспомнить, еще раз ощутить ее губы. Ничего подобного он раньше не делал. Мальчишки в школе, конечно, хвастались друг перед другом своими победами на любовном фронте, сочиняли, наверно, а может, и правда. Один вообще целый роман расписал, который будто бы был у него прошлым летом в «Артеке» с девчонкой из другого отряда. Он, Сережа, тоже что-то рассказывал, выдумывал на ходу. Нельзя же признаваться, что ни одна женщина, кроме мамы, еще близко к нему не подходила. И тут вдруг такое.

Он понимал уже, что влюбился в Валию, отчаянно, смертельно влюбился. И удивлялся самому себе, откуда вдруг такой смелости набрался – поцеловал ее, взрослую женщину, не девчонку какую-нибудь на школьном вечере. Дон Жуан тоже выискался! А если бы она заорала, если бы матери доложила? Что теперь будет? Как она посмотрит на него завтра? Нет, уже сегодня, всего шесть часов осталось. Может, она не придет? Никогда больше не придет? Ох, только бы пришла! Пускай смеется над ним, стыдит, отчитывает, только придет!

Он забылся сном уже под утро и оттого пропустил приход Вали, очнулся, когда она стояла уже на пороге комнаты. Он смущенно кашлянул, сел в постели, принялся тереть заспанные глаза. Сердце колотилось как ненормальное. Валя не смотрела на него, глядела себе под ноги, и лицо у нее было осунувшееся, обреченное, как у человека, который смирился с судьбой.

– Доброе утро! – выговорила она. – Ну что, давай сделаем укол?

Он молча перевернулся на живот, краем глаза следя за ее движениями. Вот она достала шприц, звякнула ампула, холодная проспиртованная ватка проехала по коже, легонько укусила игла. Тонкая золотисто-загорелая рука отложила шприц, замерла в воздухе. И вдруг Валя, все еще сидевшая на краешке постели, нагнулась резко, будто разом лишившись сил, рухнула на постель и уткнулась лицом в его спину, между лопаток. Сквозь тонкую рубашку он чувствовал ее дыхание, ощущал, как шевелятся губы, шепча:

– Сережа, что же это такое? Что со мной делается?

Не смея поверить в то, что происходит, чувствуя лишь горячее жжение где-то в низу живота, он вывернулся, перевернулся на спину, увидел прямо над собой ее потерянное лицо, дрожащие зрачки. Она сама взяла в ладони его голову, поцеловала нежно и страстно. Руки – не его, какие-то чужие, смелые и жадные, гладили ее спину, плечи, грудь, скользили под подол ситцевого платья, касались нежной теплой кожи бедер. Гребень отскочил, и волосы ее рыжей солнечной лавиной ухнули вниз, скрыли их, словно отливающим медью пологом.

– Подожди, подожди, не дергай так, порвешь, – иступленно шептала она, покрывая поцелуями его шею, плечи, грудь в распахнувшемся вороте рубашки. – Дай я сама!

Она стянула через голову платье, скинула белье, и он впервые увидел ее обнаженную и поразился, какая она красивая. Тело ее миниатюрное, точеное, гибкое и ловкое, нежная кожа отликает золотом, распущенные вьющиеся волосы доходят почти до поясницы. Любуясь ею, он поспешно сбросил рубашку, оторвав в спешке две пуговицы, секунду помедлил, не зная, снимать ли брюки – невысказанным казалось, что через мгновение они будут лежать рядом, совершенно обнаженные. Наконец, стащил и брюки, стыдливо натянув простыню почти до подбородка. Валя нырнула к нему и прижалась всем телом. Кажется, он застонал сквозь зубы, когда ее ладони, теплые и нежные, принялись гладить и ласкать его тело. Не понимая, что делает, отдаваясь во власть древнего инстинкта, он навалился на нее, тяжело, прерывисто дыша, и почувствовал, как подается, раскрывается для него, отзывается на его настойчивый зов ее маленькое, легкое, такое желанное тело.

Сергей Иванович проснулся от невыносимой боли. Кожа под бинтами словно горела, нестерпимо жгло щеки, нос, уши. Он как будто опять оказался в огненной, пышущей жаром ловушке, только теперь, когда в крови не кипел адреналин, было гораздо больнее. Он глухо застонал, приложил ладони к лицу, борясь с желанием содрать к черту все эти тряпки. Боль обезоруживала его, делала маленьким и беспомощным. К горлу подступала тошнота, голова кружилась, сердце тяжело ухало и пропускало удары.

– Валя, – из последних сил позвал он. – Валя!

Что-то зашуршало в соседней комнате, за стеной, легкие шаги пробежали по старому вытертому паркету.

– Что случилось? – услышал он голос, показавшийся в эту минуту самым родным, самым желанным. – Больно? Подождите, сейчас я укол... Ну-ну-ну, потерпите немножко.

Он слышал, как она возится у стола, что-то звякает, шелкает. Вот подошла, взяла его руку, всадила в вену иглу. Он даже не почувствовал укола, так сильна была выкручивающая все тело боль.

– Ну вот, теперь все будет хорошо, – сказала Валя. – Сейчас отпустит.

– Не уходите! – взмолился он. Отчего-то сделалось страшно остаться одному, в этой непроглядной темноте, один на один с беспощадным огнем, выжигающим кожу.

– Я здесь, здесь, – отозвалась она, сжимая его большую крепкую руку в прохладных ладонях.

И боль стала отступать, неохотно, медленно пятиться, злобно скалясь и обещая, что непременно еще вернется взять реванш, в более подходящее время, когда поблизости не будет сиделки с верным шприцем наготове. Спать больше не хотелось. Он пошевелился, сел в постели, спустил ноги на пол. Вдруг показалось, что мрак, окутывающий его все последние дни, как будто просветлел. Он напряг глаза, чувствуя, как обожженные веки касаются марли, повернул голову туда, где темнота чуть светлела, спросил:

– Что это? Что это там? Вы лампу зажгли?

– Да, на столе, когда лекарство доставала, – пролепетала Валя. – Вы видите? Видите свет, да?

– Не знаю, – глухо отозвался он. – Может быть, только кажется.

Он боялся поверить в случившееся, страшился, что, если ошибется, не переживет разочарования. Нет, нет, лучше не надеяться зря, не торопить события. Через две недели снимут бинты, тогда можно будет уже о чем-то говорить.

Он поднялся на ноги, ошупью добрался до окна, потянул на себя теперь легко поддававшуюся раму, глубоко вдохнул холодный влажный воздух, спросил:

– Дождь идет?

– Да, – кивнула Валя. – Снега почти уже нет. Весна...

Ночь влажно дышала ему в лицо, доносила запахи просыпающейся от зимней спячки земли, талой воды, мокрой древесной коры.

– Вот там, в палисаднике, растет липа, на ней должны быть уже красные почки, так? – спросил он.

– Да, – подтвердила она. – И кусты боярышника рядом вот-вот распустятся.

Он вдруг словно увидел перед собой черный провал двора, сырые от дождя скамейки, облупившуюся лесенку на детской площадке, тянущие тонкие ветки в небо деревья. Сколько лет он любовался этим видом? Двадцать пять? Тридцать? Эту квартиру, две комнаты и кухню, выгоревшие из некогда огромных дореволюционных хором, он получил в первые годы службы в Аэрофлоте, когда только-только родилась Шура. Здесь, у окна, стояла сначала ее кровать, потом Гришкина. Вспомнилось, как он хватал детей на руки, укладывал животом на свою широкую ладонь и носился по комнате, объявляя:

– «Ту-104» заходит на посадку.

Дети визжали от удовольствия.

Сколько раз выходил он отсюда, невыспавшийся, повздоривший с женой или просто ни с того ни с сего вставший не с той ноги, отправлялся в аэропорт, зная, что, как только очутится за штурвалом самолета, как только увидит перед собой распахнутое, всегда такое разное, то безоблачно-синее, то темнеющее предгрозовое небо, все бытовые неприятности окажутся где-то далеко. Особенно он любил, когда вылет назначался на раннее утро. Садись в кабину – еще темно, черное, непроглядное небо над Москвой, россыпь золотистых огней, потом рев двигателей, грохот шасси по асфальту взлетной полосы, самолет отрывается от земли, летит ввысь, рвется сквозь ночь – и вдруг откуда ни возьмись появляется солнце, радостное, утреннее, еще невидимое с земли, но уже спешащее навстречу новому дню. Немыслимое чудо, восторг. Который больше ему никогда не испытать.

Он отвернулся от окна, покачал головой:

– Бред. Бессмыслица. Валя, вы же медработник, скажите мне, для чего все это? Зачем вы выхаживаете больных вроде меня? Ну хорошо, заживут ожоги, снимут с меня эти повязки... Но даже при самом лучшем раскладе, даже если зрение ко мне вернется, я все равно никогда уже не смогу жить как прежде, вернуться в профессию. Тогда зачем все это?

– Если вы так говорите, значит, все не так плохо, – отозвалась Валя. – Знаете, за годы работы в больнице я поняла, что самые безнадежные больные сильнее всего цепляются за жизнь. А жалуются и спрашивают, для чего их спасли, как раз те, кто вскоре поправится.

– Вы и сейчас в больнице работаете? – спросил он.

– Нет, я на пенсии, мне в этом году исполнилось пятьдесят пять, – объяснила она. – Только вот отдыхать целый день как-то скучно, потому и подрабатываю сиделкой. Хочется приносить кому-нибудь пользу.

– Вот видите! Значит, вы должны меня понять, – подхватил он. – Быть бесполезным – скучно. А я теперь, после этой аварии, именно что бесполезен. Я всегда этого боялся, понимал, что в конце концов здоровье сдаст и придется уйти из авиации, у нас с этим строго. Ну, думал, перееду на дачу, буду внуков нянчить, как-нибудь привыкну. И вдруг так быстро, неожиданно. Просто оказался не готов к этому...

– Вы не правы, – возразила Валя. – Разве просто жить, дышать, общаться с близкими, радоваться каждому новому дню – это мало? Неужели авиация составляла для вас главное в жизни?

– Не знаю, наверное, – буркнул он. – По крайней мере, я не представляю себе жизни без нее.

– Знаете, вы мне моего брата напоминаете, – тихо сказала вдруг Валя. – Он вот так же бредил самолетами, с самого детства. Ужасно боялся, что из-за слабого здоровья не сможет поступить в летное училище, закалялся изо всех сил, спортом занимался. Ничего вокруг себя

не видел, ничего не замечал, только одной этой мыслью жил. И добился все-таки, поступил, выучился, стал военным летчиком, сталинским соколом. Он, кажется, даже из-за начала войны не слишком расстроился, думал только о том, что вылетов теперь будет больше. И почти сразу погиб... В августе сорок первого. – Она помолчала и добавила резковато: – И знаете, я иногда думаю, вот оказалась бы у него хоть какая-нибудь самая банальная близорукость, и его не приняли бы в училище. Да, мечта погибла бы, но сам он остался бы жить. Разве жизнь не важнее любой, самой заветной мечты?

Он неопределенно дернул плечами. Ответа на этот вопрос он не знал и спорить больше не хотел. Кроме того, его мысли все время возвращались к ее фразе «Вы напоминаете мне брата. Он погиб в начале войны». Как странно, и Валя, его Валя, тогда, больше тридцати лет назад, говорила так же. Это что же, тоже профдеформация – все медсестры развлекают больных рассказами о погибших на фронте братьях? Или...

– И вовсе вы не бесполезны, вы детям нужны... – продолжала Валя, он нетерпеливо отмахнулся. – Вы мне нужны! – настаивала Валя. – Ведь я за вами ухаживаю. Разве обязательно быть нужным всему человечеству? Разве одного человека, нуждающегося в вас, мало? Знаете, мой отец – он десять лет провел в сталинских лагерях, – когда вернулся, рассказывал: «Самое трудное – это принять новые правила своей жизни, принять и продолжать жить. Если будешь откладывать жизнь до выхода на волю, погибнешь. Нет, нужно жить сейчас, находить даже в невыносимом арестантском быту поводы для радости». Понимаете, что я хочу сказать?

– Понимаю, – кивнул он. – Поколению наших родителей в какой-то мере повезло. Они жили в такое страшное время, когда рады были уже просто тому, что все еще живы. Нам посложнее найти поводы для радости...

Он помолчал, вслушиваясь в ночную тишину спавшего дома. Весенний дождь весело стучит в железный подоконник. Вот ведь, жизнь, несмотря ни на что, идет себе своим чередом, зима кончилась, скоро листья на деревьях появятся. Может, этого и достаточно для того, чтобы чувствовать себя живым? Радоваться первому дождю, солнцу, зелени? Если бы только он мог этому научиться...

– Валя, – предложил он, – а давайте шампанского выпьем? За наступающую весну! Кажется, там в холодильнике осталась бутылка с Нового года. Нет-нет, не возражайте, я знаю, что лекарства, нельзя... Но вы же сами сказали, что нужно жить и находить поводы для радости сейчас, не откладывая на потом. Так давайте именно сейчас устроим праздник.

– Ночью? – улыбнулась она. – Вот так, ни с того ни с сего? Ну что ж, может, вы и правы, давайте. Сейчас я все принесу.

Ему удалось ловко вытащить пробку из бутылки. Валя легко придерживала его руку, когда он разливал шампанское по бокалам, осторожно останавливала, когда вино готово было вылиться через край.

– И музыку включите, – попросил он. – Там, на тумбочке, проигрыватель, а рядом пластинки. На ваш выбор, что-нибудь.

– Хорошо, только не очень громко. Три часа ночи все-таки, – отозвалась она.

Слышно было, как зашипела, начиная вращение, пластинка, как, чуть царапнув винил, опустилась на диск игла. Полилась печальная, чуть тревожная мелодия. Запрыгали синкопы старого, послевоенного танго.

– Ну вот и славно. – обрадовался он. – Давайте выпьем, Валя. Ваше здоровье! Что бы я без вас делал?

– Давайте лучше за ваше, – возразила она. – За то, чтоб вы поскорее поправились и могли обойтись без меня!

Он поднял бокал, ожидая, когда она толкнется в него своим, потом пригубил вино. Голова немедленно закружилась, наверное, все-таки не стоило пить после укола такого сильного обезболивающего. А, к черту, все равно.

– Расскажите мне что-нибудь, – попросил он. – Расскажите о себе. Я ведь ничего про вас не знаю, а за эти дни мы так сроднились, почти родственниками стали. Вы где родились, в Москве? А учились? Замужем?

Валя чуть помолчала:

– Да нечего рассказывать. Замужем была, недолго, мы разошлись. Есть дочь, уже взрослая. Честное слово, ничего интересного. Давайте лучше потанцуем, танго такое красивое.

– Давайте! – согласился он. – Праздник так праздник.

Она сама вложила в его руку свою маленькую гладкую ладонь с коротко остриженными ногтями. Он поднялся, осторожно обнял ее за талию, чувствуя, как подбородка касаются мягкие, кажется, вьющиеся волосы. Он боялся оступиться, потерять равновесие и лишь легко покачивал ее в танце, почти не двигаясь с места. Удивительно, близость этой женщины, которую он никогда даже не видел, не представлял, как она выглядит, взволновала его, разбудила смутные, как он думал, давно потерянные для него чувства – смущение, нежность. И не оставляло ощущение дежавю, полустертого воспоминания, будто что-то подобное уже было с ним когда-то, в другой жизни. Будто бы он обнимал уже эту миниатюрную, хрупкую, доверчиво припавшую к его груди женщину. И запах ее волос, легкий, пряный тоже ему смутно знаком.

– Что за духи у вас? – спросил он, глубже вдыхая этот запах, будивший почти забытые воспоминания. – Запах такой знакомый.

– Ничего особенного, обыкновенный «Красный мак», – отозвалась она. – Половина женщин моего возраста ими пользуется.

Да, наверное, ничего особенного в этом запахе нет, он не слишком-то разбирался в парфюмерии, знал только «Быть может», которыми все годы совместной жизни пользовалась жена. А то, что этот запах напоминал ему прошлое, ту, другую Валю – просто совпадение. В самом деле, в Советском Союзе имелся не такой уж большой выбор косметических средств, особенно в те годы.

– Так странно, правда? – улыбнулся он. – Ночь. Пустая квартира. И мы танцуем. Как в кино. У вас когда-нибудь в жизни было что-то подобное?

– Нет, – отчего-то печально отозвалась она. – Нет, никогда.

Черный репродуктор на столбе, хрипя и кашляя, выводил танго «Цветы». На плацу, перекивая печальную мелодию, пели что-то строевое марширующие солдаты, все в запыленной зеленой форме, в черных сапогах – и как они только их носят в такую жару, и с одинаковым затравленно-унылым выражением стертых лиц. Пузатый капитан Шевчук, прохаживаясь взад-вперед в тени платана, зычным голосом отдавал команды.

– Здравсьте, дядь Коль, – буркнул Сережа, торопясь проскочить мимо краснолицего вояки.

– Здорово, Серега, как сам? Выздоровел? – откликнулся Шевчук. – Ну, молоток! Не болей больше! Куда спешишь-то?

– Мамка в поселок послала, там, говорят, в магазине сахар выбросили, – на ходу соврал он.

– А, ну давай-давай, матери помогать надо, – одобрил Шевчук и отвернулся.

Сережа быстро проскочил мимо пыльно-зеленой колонны, свернул на тропинку между двумя одинаковыми пятиэтажками, пробираясь по кустам, выбрался к забору военной части и, оглянувшись по сторонам, легко перескочил ограду в одном только ему известном месте, где каменная кладка осыпалась от старости.

Времени было еще полно, но он не мог унять рвавшееся из груди радостное нетерпение, бежал бегом. Пересек узкую разбитую асфальтированную дорогу и выскочил на тянувшееся почти до горизонта хлопковое поле. На аккуратных, вытянутых вдоль земляных бороздках зеленели маленькие кустики с намечающимися коробочками. Далеко, на горизонте тяну-

лись пологие, крытые темно-зеленым бархатом горы, и лишь одна, самая высокая, отливала под солнцем снежной синевой. Небо уходило ввысь, синее-синее, бездонное, высокое, он раскинул руки на бегу, представляя, будто взлетает, ввинчивается в эту синеву, сидя за штурвалом легкого, грациозного белого самолета.

Лавируя среди ростков, он поравнялся с серым кривобоким сарайчиком для хранения инвентаря, оглянувшись по сторонам и убедившись, что никого поблизости нет, осторожно снял давно уже сломанный, только для вида болтавшийся на двери замок и прошмыгнул внутрь, в жаркую, пахнущую землей и солнцем полутьму. Отбросил ногой ржавую мотыгу, сел на дощатый пол, обхватил руками колени и принялся прислушиваться к доносящимся снаружи звукам. Сначала ничего не было слышно, только горячая, звенящая тишина и трепет хлопковых листьев под легким, едва различимым дуновением ветерка. Потом что-то нарушило сонное оцепенение, какие-то дальние, почти неслышимые звуки. Они приближались, раздавались все отчетливее, и вот уже стало слышно, что это музыка, песня, которую мурлычет тихо чистый женский голос. И вот уже можно было различить тревожный мотив танго, только что доносившийся из репродуктора. Должно быть, у них в поселке тоже работало радио.

Дверь, тихо скрипнув, впустила луч солнечного света, а вслед за ним появилась напевавшая Валя. Он успел различить только золотой нимб волос над головой, вылинявшее голубое платье, а затем дверь захлопнулась, и снова сделалось темно. Он вскочил с пола навстречу Вале, протянул руки, обнял, почти на ощупь. И она тут же приникла к нему, жарко задышала в плечо, потянула его за собой, все еще продолжая напевать, заставляя кружиться вместе с ней в легком радостном танце. Он неловко переступал по полу, пьянея от ее близости, нетерпеливо ища в темноте ее губы.

– Ну, здравствуй, здравствуй! – прошептала она, обвивая тонкими руками его шею.

В жарком, почти недвижимом воздухе пахло плодородной распаханной землей, зеленью, летом. Он повернулся в сладкой полусонной истоме, уткнулся лицом в плоский Валин живот, коснулся губами пупка.

– Люблю тебя, – прошептал, не открывая глаз.

– За что? – склонила голову к плечу она.

– Не знаю... Просто так. А ты за что?

Она запустила маленькие тонкие пальчики в его отросшие пшеничного цвета волосы, крепче прижала его голову к своему животу.

– Ты хороший, Сережа. Не такой, как другие здесь. Ты добрый, нежный... За мной тут ухаживал один, из вашей части. Пузатый такой, краснорожий... Колей зовут.

– Капитан Шевчук, – сообразил он. – Знаю его, противный.

– Угу, – кивнула она. – Сам, знаешь, пыжится, рассказывает мне про свои боевые подвиги, а глазами так и лезет под юбку. Я ему так и сказала: «Глаза растерять не боишься, герой?» И все такие же. Я за два года тут ни с одним словом не перекинулась. Придешь домой со службы, вместе с Маликой (это хозяйка, у которой я угол снимаю) кислого молока с лепешками похлебаешь – и спать. А иногда как задумаешься, такая тоска берет. Мне ведь двадцать три года только, что же, это и есть вся моя жизнь, и другой никогда не будет?

– А в Москве у тебя был кто-то? – спросил он осторожно, боясь обидеть.

– Был, да, жених, – неохотно отозвалась она. – На курс старше учился. Но, видишь, как получилось, не сложилось. Мне уехать пришлось, а он остался. Да я и не хотела, чтобы он уезжал, ему-то за что жизнь ломать.

Сережа не шевельнулся, продолжал все так же расслабленно лежать головой у нее на коленях, только внутренне весь напрягся и с трудом выдавил из себя:

– А поедешь обратно в Москву? Со мной поедешь? Училище, правда, не в самом городе, а в области, но это ведь близко... Поедем? У меня поезд через десять дней, сразу после выпускного.

Почувствовал, как сбилось ее дыхание, как окаменело теплое бедро, к которому он прижимался щекой.

– Так скоро? – выдохнула Валя.

– Так ты поедешь? – настаивал он. – Ты не бойся, я все продумал. Я работать пойду. Ну, то есть и учиться, конечно, и работать. На первое время комнату снимем, а потом, когда поженимся, нам общагу дадут, наверно. Поедешь со мной, а, Валь?

Он поднял голову, напряженно вглядывался сквозь сонный полумрак в ее глаза. Она отчаянно покачала головой, спрятала лицо в ладонях.

– Не поеду, Сережа. Мне в Москву нельзя.

– Почему? Ну почему? – он тряхнул ее за плечи, попытался оторвать ладони от лица.

– Потому что нельзя. Не допытывайся, прошу тебя.

– Ты мне не веришь, что ли? Боишься чего-то? – оскорбленно спросил он.

И Валя, всхлипнув, упала к нему на грудь, вцепилась руками в плечи, иступленно шепча:

– Я верю тебе, верю. Но ты честный, Сережа, ты врать не умеешь. Если вдруг тебя спросят, ты сможешь сказать, что не знал, только если и правда не знал. Не спрашивай меня, пожалуйста, ни о чем не спрашивай. Я люблю тебя больше всего на свете, но в Москву мне нельзя. Даже и в область.

– Ну и к черту Москву, – почти крикнул он, до боли сжимая ее, маленькую, беззащитную, припавшую к нему, как к единственной опоре в жизни. – Поедем еще куда-нибудь. В любой другой город, в какой захочешь. Какая нам разница, где жить?

– А как же небо? Летное училище? – спросила она, не поднимая головы, касаясь губами его обнаженного плеча.

– Да что оно, одно, что ли, на весь Союз, это училище? – нетерпеливо дернул подбородком он. – Поступлю еще где-нибудь. Ну даже если и нет... Да мне плевать на все, на училище, на небо, на самолеты, лишь бы ты была рядом. Я тебе вообще-то предложение делаю, ты как, согласна?

Он, наклонившись, принялся целовать ее заплаканное лицо, ощущая на губах соленый привкус ее слез, путаясь пальцами в рассыпавшихся по спине пышных рыжих волосах.

– Не знаю, я не знаю... – качала головой она. – Ты не понимаешь...

– И не хочу ничего понимать, – резко бросил он. – Мне плевать, что там у тебя за тайны! Да пусть ты хоть десяток пионеров прирезала, мне все равно. И попробуй только мне отказать, я тебя все равно никуда не пущу! Вот так схвачу и не выпущу, понятно тебе? – он стиснул ее руками, сжал почти до боли, и Валя, все еще сквозь слезы, рассмеялась коротким счастливым смехом:

– Понятно.

Дома бушевал скандал. Мать, большая любительница эффектов, возлежала на диване с мокрым полотенцем на лбу, стонала и охала. Отец, не выносивший семейных сцен, морщась, курил папиросу, стряхивая пепел в распахнутое окно. Они не слышали, как в прихожей хлопнула дверь, и некоторое время Сережа различал их реплики.

– Да брось ты рыдать, он взрослый мужик, – увещевал отец. – Ну трет там кого-то по молодому делу, ну и что с того. У него за жизнь еще тыща баб будет, ты каждый раз станешь реветь белугой? Тебе все кажется, что его еще в детский сад водить надо в коротких штанишках.

– Да при чем тут это, при чем тут это? – не унималась мать. – Тебе же особист все рассказал про нее... – она понизила голос и что-то яростно зашептала, Сережа не мог разобрать. – А если он на ней жениться вздумает? – снова в голос завопила она.

– Да куда там жениться, ему семнадцать лет, – отмахнулся отец. – Через неделю уедет, начнется учеба, девочки. Он и думать забудет, что тут у него было...

– А если не забудет? – патетически бросила мать. – А если не уедет? Ты же знаешь, какой он упертый, весь в тебя. Если он вообразит, что это у него любовь на всю жизнь? Ты такого будущего хочешь для нашего сына? Все надежды прахом, училище, карьера – все. Такое пятно в биографии... И мы с тобой тоже под эту лавочку навсегда тут останемся небо коптить. Ты все хлопотал о переводе в Москву? Так вот, теперь дудки, можешь забыть! Никогда мы отсюда не выберемся.

– Да брось ты драму разводить, – нетерпеливо прикрикнул отец.

– Иван, сделай что-нибудь! – взмолилась мать. – Поговори с ним, объясни, заставь! Нужно же принять какие-то меры, я не знаю...

Мать театрально зарыдала, отец, хмыкнув, отправился на кухню за каплями и наткнулся в прихожей на бледного, дрожащего от негодования Сережу.

Сын так никогда и не узнал, кто его увидел, кто донес. Отец сказал только, что кто-то доложил замполиту, а тот счел необходимым поставить в известность командира части, чем на досуге занимается его отпрыск. Впрочем, это и неважно, городок маленький, сплетни расходятся быстро. Куда больше, чем раскрытие его тайны, Сережу поразила реакция родителей. Как они могли решать что-то вот так, за его спиной? У них дома такого никогда не было. Неужели они до сих пор считают его сопливым мальчишкой, которого можно за ручку вести куда угодно? Да никогда в жизни он никому не позволит вмешиваться в свою жизнь, он им покажет, будут знать, как совать нос в чужие дела. Еще и шепчутся, пересказывают друг другу какие-то сплетни. Что такое они напридумывали про Валю, про его смешливую, нежную, страстную Валю? Какую грязь развели, даже вслух не скажешь! Пошлые, мелкие людишки, ограниченные мещане!

– Значит, вы с матерью уже в курсе? – едва сдерживая ярость, спросил он отца. – Ну и прекрасно, я и сам хотел вам рассказать.

– Так это правда? – грузно выбежала из комнаты мать. – И тебе не стыдно вот так нам признаваться? Спутался со взрослой теткой... Она же тебя старше...

– Ну и что? – запальчиво возразил он. – Какая разница? Мы любим друг друга.

– Ты слышишь? – победоносно обернулась мать к отцу. – Я тебе говорила, говорила! Эта девка задурела ему башку!

– Не смей называть ее девкой, – перебил Сережа. – Валя не девка, она – моя будущая жена.

– Ты как с матерью разговариваешь? – взревел отец. – Очень взрослый стал? Тили-тили-тесто, жених и невеста! Я тебе устрою свадьбу! А ну марш в свою комнату вещи собирать, у тебя поезд через неделю.

– А я никуда не еду, – бросил ему в лицо Сережа.

В эту минуту он, казалось, ненавидел этого крепкого, коренастого мужика с лицом твердым и властным, который тряс перед его носом красноватым, в белых тонких волосках, кулаком.

– Я никуда не еду, я разве забыл вам сказать? – глумливо ухмыльнулся он. – Дело в том, что моя невеста не хочет в Московскую область, а без нее не поеду и я. Но мы, конечно, не станем мозолить вам глаза, уберемся отсюда куда-нибудь. Вот только решим куда.

– Ах ты сучонок! – зарычал отец и, налившись свекольным цветом, бросился на него, сжимая кулаки. – От горшка два вершка, а тоже еще рот разевает! Я тебя научу уму-разуму!

– Ваня, Ваня, не трожь его! – заголосила мать, кинулась наперерез, повисла у отца на руках, не пуская к сыну.

– Бей, бей! – озверев от злости, надсадно орал Сережа, которого подстегивало чувство противоречия. – Давай, ну что же ты? Все равно ты ничего не сможешь со мной поделать. Я люблю Валю и женюсь на ней, даже если ты меня искалечишь!

– Ваня, не трогай его! – ревела мать, повиснув на отце. – Он не понимает, что говорит, это все она его накрутила, против нас настроила!

– Да идите вы! – бросил Сережа. – Что вы лезете в мою жизнь? Оставьте меня в покое, я все решил, и никто мне не помешает!

Он распахнул дверь и скатился по лестнице вниз, во двор.

– Папуля, смотри, что я достала. – Шура, как часто бывало в последнее время, машинально бросила «смотри» и сразу же смутилась, стушевалась.

– Что там у тебя? – подхватил Сергей Иванович, делая вид, что не заметил этого «смотри», чтобы не расстраивать дочь еще больше. – Пахнет-то как!

– Сервелат копченый, твой любимый! – победоносно объявила Шура. – Два часа в продуктивном в очереди стояла.

– Ух ты! Вот это да! – ему казалось, он отлично разыграл энтузиазм.

С чего она взяла, что сервелат – его любимая колбаса? Он вообще никогда не отличался особой привередливостью в еде, как и отец когда-то, любил, чтобы было вкусно и сытно – этого и довольно. Впрочем, если Шуре приятно чувствовать себя заботливой дочерью, он возражать не будет.

– Сейчас положу в холодильник и в кухне заодно приберу.

Она протопала на кухню, загремела посудой. «Стыдно все-таки, молодая женщина, двадцать семь всего, а так себя распустила, – с досадой думал он. – Ну, дети, семья, все понятно, но хоть бы зарядку, что ли, делала по утрам. И ведь не скажешь – обидится. Вот, посмотрела бы хоть на Валю – ей пятьдесят пять, а даже по походке слышно, какая она легкая, стройная, грациозная. Как девочка...» Он отправился вслед за дочерью, стараясь ориентироваться по смутному белому свету, льющемуся из-за незанавешенного окна. Вот уже несколько дней, как он мог отличать свет от темноты, сначала боялся в это поверить, пытался убедить себя, что это всего лишь воображение, потом удостоверился, в душе проснулась смутная, опасливая надежда – на исцеление, на возвращение к былой жизни, пускай без полетов, без неба, но хотя бы не зависящей от милости других, полноценной, самостоятельной. Он, однако, не поделился своим открытием ни с кем из близких, чтобы не обнадеживать их раньше времени. О том, что чувствительность стала понемногу возвращаться к его глазам, знала только Валя.

Остановившись у окна, опустив руки на холодный широкий подоконник, он слышал, как дочь за спиной орудует на кухне, открывает холодильник, хлопает дверцей шкафчика. Сам же наслаждался лучами весеннего солнца, отсвет которых теперь мог различить сквозь бинты.

– А это что такое? – воскликнула вдруг Александра.

Он поморщился: дочь, кажется, окончательно восприняла в общении с ним тон строгого, но справедливого взрослого по отношению к несмышленому ребенку. Стараясь все-таки сдержаться, не давать выхода раздражению, он заметил:

– Шура, ты, наверно, понимаешь, что я не могу увидеть, что тебя так возмутило.

– Вот это! – бросила Шура. – У тебя тут, под раковиной, бутылка из-под шампанского!

– А, ну так, значит, ты сама можешь понять, что это такое, – это бутылка из-под шампанского, – неловко пошутил он.

– Ты что, пил? С кем? Тебе же нельзя... Кто это принес? – приступила к допросу Александра.

– По-моему, ты мстишь мне за свои подростковые годы, – усмехнулся он. – Никто эту бутылку не приносил, она осталась в холодильнике с Нового года. Мы с Валею выпили как-то по бокалу, чтоб не так тоскливо было.

– С Валею? – ахнула Шура. – Так это, значит, сиделка тебя спаивает? То-то я смотрю, ты с ней как-то подозрительно задружился в последнее время. Вот же дрянь, а? Говорили мне, надо через фирму «Заря» нанимать, так нет, думала, по рекомендации будет надежней...

– Шура, что ты взбеленилась на пустом месте? – не выдержал он. – Подумаешь, выпили шампанского, что тут криминального?

– А где твой паспорт? – спохватилась вдруг дочь. – Ты давно его в руках держал? Ты вообще помнишь, где у тебя документы?

– В секретере, в верхнем ящике. А в чем все-таки дело? – не понял он.

– В чем дело? Да, может, вы с ней давно уже расписаны, а ты и не знаешь, – заявила Шура. – Я сколько таких историй слышала... Сиделки эти втираются в доверие к беспомощным старикам, заключают фиктивные браки, а потом под видом законной жены обворовывают полностью, все из дома выносят. А то и вовсе прописываются в квартире, а после смерти хозяйки – вот вам, дорогие родственнички, кукиш, а не недвижимость.

– А ты, стало быть, о наследстве беспокоишься? – вспылил наконец он. – Боишься, что она серебряные ложки отсюда вынесет? Или мамин хрусталь? Переживаешь, что квартира внукам не достанется? Хочу тебе напомнить, доченька, что я вовсе не беспомощный старик и на тот свет еще долго не собираюсь!

– Да я же за тебя переживаю! – взвыла Шура.

– Хватит врать! – крикнул он. – У тебя от жадности аж голос дрожит. И не смей больше наговаривать на Валею. Она сделала для меня больше, чем вы с Гришкой, вместе взятые.

В пылу ссоры они не почувствовали, как в прихожей хлопнула дверь, и Шура только через несколько минут заметила сиделку, стоявшую в коридоре и, очевидно, слышавшую часть их разговора.

– Вы – бесчестная, подлая женщина! – бросила она Валею в лицо. – Но ваши аферы вам с рук не сойдут, так и знайте! Я сегодня же скажу обо всем Гришке, и мы... мы... Уходите отсюда, ваши услуги нам больше не нужны!

– Александра Сергеевна, вы не так обо мне думаете... – начала Валя.

– Бросьте, не оправдывайтесь, – оборвал ее Сафронов. – И не вздумайте никуда уходить, это не ей решать!

– Ах так, ну тогда уйду я, – объявила Шура. – Ты еще пожалеешь, еще поймешь, что я была права, – назидательно сообщила она на прощание и вышла, тяжело топая. Сергей Иванович, стараясь отдышаться, унять бушевавший внутри гнев, опустился на табуретку.

– Как вы себя чувствуете? Может, давление измерим? – подошла Валя.

Он перехватил ее тонкую, всегда прохладную руку, покачал головой:

– Валя, как мне извиниться перед вами за эту сцену? Мне очень неудобно, что вы все слышали... Я, наверное, неправильно воспитал своих детей, раз они так себя ведут...

– Ну что вы, – возразила Валя. – Знаете, такое часто случается. Это ваши близкие, они за вас волнуются, боятся, что кто-то обманет, воспользуется временной слабостью. Может быть, мне и в самом деле лучше уйти? Возьмете другую сиделку, ничем не хуже меня. Зато мир в семье будет восстановлен.

– Даже не вздумайте! – горячо возразил он. – Я только из-за вас одной и начал понемногу приходить в себя. Без вас я бы давно уже со всем этим покончил, вы...

– Вы преувеличиваете, – покачала головой она. – Это просто моя работа...

– Я не про работу сейчас, – прервал он. – Валя, именно вы помогли мне вернуть интерес к жизни. Только ради вас я начал подниматься с постели, пытаться что-то делать, вернуться к себе прежнему. Если не будет вас, я...

Он спутался, смешался и, не зная, как подобрать нужные слова, просто поднес к губам ее маленькую нежную ладонь. Сердце в груди подскочило и гулко забилося, как только он вдохнул ее запах – свежий отглаженный халат, что-то горьковато-лекарственное и... эти духи... Эта ладошка, маленькая, как будто детская. Он ведь уже сжимал ее в своих руках, он точно знал это... Но неужели... неужели возможно такое совпадение?

– Сергей Иванович, ну что вы, что вы делаете, – пробормотала она. – Я ведь старуха...

Вторая ее рука, взлетев, коснулась его волос. Сначала осторожно, опасливо, потом смелее, погладила по седеющим волосам, коснулась лба, щеки. И это ее прикосновение было ему знакомо – легкое, как будто порхающее и вместе с тем пронзительно нежное.

– Никакая вы не старуха, – возразил он. – Вы просто меня обманываете! И как вам только не стыдно вводить в заблуждение несчастного слепца? Вам двадцать два или двадцать три, глаза у вас синие, а волосы – рыжеватые, огненные... И я... Вы... Вы так мне нужны...

Она чуть отстранилась, отняла руку, проговорила с горечью:

– Вы кому-то другому сейчас все это говорите, не мне. Какой-то женщине из прошлого... Наверное, я напоминаю вам ту медсестру, которая за вами ухаживала в юности?

– Может быть, – смешался он. – Я не знаю... Простите меня, я совсем запутался. У меня постоянно какое-то дежавю. Эта темнота меня доконала, мерещится черт-те что. Ну и потом... У вас ведь и имя то же, и профессия...

– Просто и имя, и профессия очень распространенные, – мягко отозвалась она. – И потом, все мы друг другу кого-то напоминаем. Вы вот мне брата напомнили, я вам уже говорила... Просто стараешься найти в людях, особенно в тех, кто тебе приятен, какие-то черты своих близких.

– Но, понимаете, вы действительно на нее похожи, – не унимался он. – И не похожи в то же время... Она была веселая. Заводная, напевала все время, смеялась... Вы совсем другая – спокойная, сдержанная. Но в то же время в вас есть тот же непробиваемый оптимизм, та же внутренняя сила, которая позволяет продолжать жить, несмотря ни на что...

– А почему вы вдруг сейчас вспомнили о ней? – спросила Валя. – Ведь столько лет прошло... Неужели обычная медсестра оставила в памяти такой сильный след?

– Почему вспомнил? – он поднялся на ноги, сделал несколько неуверенных шагов, ухватился рукой за край подоконника, прижался лбом к стеклу. Из открытой форточки пахло весной, молодой, только что распустившейся зеленью. – Я не говорил вам, у нас с ней был... ну, роман, можно так сказать. Она – моя первая любовь. Я совсем потерял голову, на все был готов – порвать с родителями, отказаться от юношеской мечты, уехать с ней, куда она скажет...

– Для чего же такие жертвы? – спросила сиделка.

– Я и сам тогда не понимал, почему у нас все так сложно, – объяснил он. – Она ничего не рассказывала мне о своих тайнах, скрывала, боялась. А я, идиот безмозглый, не мог догадаться. Узнал, как дела обстояли на самом деле, уже через много лет. Как-то во время семейного застолья выпили лишнего, повздорили с отцом – он уже пожилым человеком был, пенсионером – и он бросил мне, что я, мол, всю жизнь твои проблемы решал, вызволял тебя из неприятностей. Я завелся, начал нападать, требовать объяснений, ну он и напомнил мне про ту давнюю историю. Понимаете, у нее отец в лагере сидел, враг народа... Ну, вы помните, что это означало в то время. Она, бедная, боялась всего на свете, каждого косога взгляда, каждого выговора на работе. Сбежала из Москвы, от родных и друзей, скиталась по разным крошечным городкам, пряталась от всех, только бы не узнали... И все равно узнавали, конечно, с работы выгоняли, от комнаты отказывали, и приходилось снова уезжать. Жениться на ней значило бы и самому стать изгоем. Тогда же мы не знали еще, что всего через год пахан сдохнет

и дышать станет легче. Мои родители были людьми пугаными, пережили революцию, Гражданскую, тридцатые, войну... Конечно, они не хотели для единственного сына такой судьбы...

Полковник Иван Павлович Сафронов был человеком простым, но резким и вспыльчивым – жена вечно упрекала его, мол, что на уме, то и на языке. За долгие годы службы он так и не научился хитрить, юлить, строить интриги, подсиживать сослуживцев и добиваться теплых местечек. Мог не сдержаться и нагрубить в разговоре с начальством. Оттого, вероятно, и отправлен был, несмотря на воинский опыт и боевые заслуги, командиром части к черту на кулички, в забытый маленький военный городок в Узбекистане. И, несмотря на собственные надежды и вечные стенания и жалобы жены, не мог заставить себя унижаться, просить перевода куда-нибудь поближе к Москве.

Хорошо он чувствовал себя лишь на фронте, где все ясно, враг определен и правда на нашей стороне. А в мирной жизни, где требовались порой не решительность и отвага, а иные, более тонкие свойства характера, Иван Павлович терялся.

Вот и сейчас, откомандированный женой с визитом к медсестре Валентине, он понятия не имел, как взяться за дело. Сгоряча наорал на шофера Абдуллаева, плохо понимавшего по-русски нескладного узбека, на котором и военная форма сидела как-то косо, а потом трясся в раздолбанном «козлике» по ухабам проселочной дороги и напряженно соображал, что же такого сказать улыбчивой сестричке, чтобы убедить ее отстать от сына.

Если уж совсем честно, он считал, что Таня зря раздула из всего этого трагедию. Ну, спутался Сережка с какой-то девкой, ну и хрен с ним, какие его годы, покувыркаются и разбегутся. И кого будет волновать в будущем подпорченная биография его случайной любовницы, с которой давно уже покончено? Так нет же, надо было закатить истерику, совать им палки в колеса, пытаться запереть сына дома. Конечно, Сережка взбеленился, упрямый, как ишак, весь в батю, – и теперь их друг от друга под дулом автомата не отлепишь. Женюсь, орет, и вас не спрошу. А дело-то серьезное, у парня поезд в Москву через несколько дней, экзамены в училище гражданской авиации, все будущее зависит от его сегодняшнего решения. Тьфу, век бы дело с бабами не имел, ввяжутся, куда не просили, да только напортят.

И девку-то ведь жалко, положила руку на сердце. Особист Котов все ему про нее разузнал по своим каналам, несчастная она, в общем-то, да и пострадала ни за что. Папашку-то ее взяли после войны уже, в сорок девятом. Что он там такого ляпнул у себя на заводе, что его, фронтовика, дернули? Да кто ж его знает, может, по дурости анекдот какой рассказал, а может, соседи на их комнату зарились, вот и оговорили мужика. Осталось их после войны двое всего, отец да дочка. Мать в эвакуации умерла, брат на фронте погиб. А тут – чего может быть лучше, батю в тюрьму, дочка, как ее из института да из комсомола поперли, по совету добрых людей подхватила вещички и дунула из Москвы, вишь, комната и освободилась. А с другой стороны, кто его знает, время-то вон какое опасное, шпионы всякие да враги только и знают, как бы стране, в боях с проклятыми фашистами ослабленной, навредить, может, и папашка ее тоже из этих. Сейчас ведь никому доверять нельзя, только товарищу Сталину...

Валька-то бабенка не промах оказалась, сначала в Горьковскую область подалась, к родне, медсестрой в сельскую больничку устроилась (все-таки три курса мединститута кончить успела), поработала малость, а тут вдруг сведения о ней из Москвы дошли. Из больнички ее мигом турнули, кому ж охота связываться с дочкой врага народа, тут и родственники засуетились, уезжай, мол, девка, от нас подобра-поздорову, не доводи до беды. Она дальше куда-то подалась, да вот так, перебежками, и сюда попала наконец. А тут вроде прижилась, два года уже на одном месте. Ну да тут края дикие, заброшенные, никому ни до кого дела нет, а и то, как потребовалось, вся ее биография вмиг разъяснилась.

Но хоть и жалко ее, так, по-человечески, но ему, при его-то шатком служебном положении, такая невестка как кость в горле. Тут уж о Москве и думать не смей, сиди себе, не высо-

ывайся, да молись, чтоб не всплыло. А супруга его и так поедом ест за то, что заташил ее в этот медвежий угол. Да и Сереге с такой женой об авиационном училище забыть придется – там ведь анкеты, проверки, куда уж. Всю жизнь так же хорониться по темным углам будет да бояться всего на свете. И ради чего? Ради бабы обыкновенной. Добро б хоть красавица писаная была, а то – от горшка два вершка, одно и есть что волос кудрявый да золотистый. Тьфу! Ладно, жалко не жалко, а свой-то пацан все же дороже, спасать надо парня...

Машина затормозила у поселковой больницы. Иван Павлович вышел из кабины и потоптался перед обшарпанным крыльцом кособокого одноэтажного барака. Из-за облупленной двери выглянула уборщица – старуха в повязанной на голове белой косынке, с темным, изъеденным морщинами восточным лицом.

– Здравия желаю, бабуля! – гаркнул он. – Кликни-ка мне Морозову Валентину, не знаю, как по батюшке. Сестрой тут у вас работает.

Старуха мелко закивала, залопотала что-то по-узбекски и скрылась. Через минуту на крыльце появилась Валя, в накинутом поверх платья белом халате и белой шапочке, припиленной к собранным вокруг головы медным волосам. Взглянув на Ивана Павловича, она смутилась, опустила глаза, на скулах выступили алые пятна. Краснела она легко и очень заметно, как все рыжие.

– Привет, Валюша, – поздоровался он. – Пойдем-ка пройдемся, разговор у меня к тебе.

Валя кивнула, спустилась с крыльца и пошла рядом с Иваном Павловичем по пыльной немощеной дорожке.

Иван Павлович откашлялся и начал:

– Валя, мы очень вам благодарны, вы поставили Сережу на ноги. Без вас прямо не знаю, что бы мы делали...

– Ну что вы, – еще больше раскраснелась та. – Я ничего особенного не сделала, просто уколы...

– И вы не думайте, пожалуйста, что мы черствые какие, просто времени не было до вас доехать, все служба, – он сунул руку в карман мундира и извлек оттуда почтовый конверт с изображением кремлевской башни в уголке. – Вот, возьмите. В знак, так сказать, нашей признательности...

Он попытался вручить ей конверт, Валя же, замотав головой, принялась отталкивать его руку.

– Не надо! Да не надо же, я не возьму! Ну как вам не стыдно?

– Бери-бери! – настаивал он. – Ты девка молодая, тебе, небось, приодеться хочется. А то вон ходишь в обносках каких-то! А то, может, отпуск возьмешь, съездишь куда? Хоть в Ташкент, к примеру, развлечешься, в театр сходишь, в кино. Здесь-то скучно поди, а там, может, и жених тебе какой сыщется подходящий.

Он попытался засунуть конверт в карман ее халата. Валя отшатнулась, отбросила его руку.

– Не нужен мне никакой жених! Уберите деньги!

– Это почему же? Али здесь кого приметил? – Он пристально посмотрел на нее, заметил, как задрожали ее зрачки, как ниже склонила она голову, сказал веско, тяжело: – Ты, девка, со мной не юли! А ну отвечай, что там у вас с моим Сережкой? Задурила парню голову, а? И не совестно тебе? Здоровая баба, а с пацаном малолетним крутишь?

Валя ошетинулась, как кошка при виде опасности, посмотрела затравленно, процедила:

– Это не ваше дело!

– Да ну, а чье ж тогда? – вскипел Иван Павлович. – Или он не сын мне? Или не моя жена по твоей милости дома с приступом лежит? Я тебе по-хорошему говорю, оставь пацана в покое, дай ему спокойно уехать. Я тебя не обижу, и деньгами помогу, и в ташкентскую больницу устрою, если пожелаешь. Но не лезь ты к нам в семью, сделай милость.

– А я его не держу! – запальчиво возразила Валя. – И никому не навязываюсь. Он сам со мной хочет быть! Вы у него-то спросили? Зачем ко мне пришли? Или с сыном не справились, так решили с другого конца зайти? Черта с два, ничего у вас не выйдет. Я Сережу люблю и ни за что в жизни его не брошу. А деньги ваши спрячьте, не нужны они мне!

Ивана Павловича разбирала злость. Вот же, стоит перед ним, дерзит, брыкается – экая пигалица. Нет, не те стали времена, никакого уважения к старшим. Да в деревне, где он родился, такую оторву бесстыжую камнями бы побили!

– Ты что же думаешь, я на тебя управы не найду? – зарычал он. – Да ты у меня вот где, – он потряс перед ее носом стиснутым кулаком. – Я все про тебя знаю – и про папашку твоего, врага советской власти, и про тебя... Станешь ерепениться, я вмиг куда следует сообщу! Да от себя кое-что прибавлю. Это никак в прошлом году в больнице вашей ампул с морфием недосчитались? Врачиха-то старшая, Пелагея Антоновна, на поклон ко мне ходила, помоги, мол, отец родной, дело замять, а то под суд пойдем. Так это, может, ты морфий-то украла? А, вражье семя? Может, ты и больным отраву вместо лекарств подсыпаешь? Вредительница! Мстишь советской власти за батьку своего, невинного, а? Да если я тебя в оборот возьму, мы все твои темные делишки враз проясним, и усвиستیшь ты вслед за родителем на Колыму! Этого захотела?

Он наступал на побледневшую девушку, стиснув кулаки, тяжело дыша. И Валя вдруг отступила, осела на камень у дороги, одной рукой прикрыла лицо, другую опустила в журчавший рядом арык, шевелила пальцами в прозрачной воде. Иван Павлович смотрел на ее поникшую рыжую голову, на опущенные плечи и чувствовал, как ярость отступает, испаряется под лучами жаркого среднеазиатского солнца, а на смену ей приходит жалость и стыд. Прицепился же к девчонке, старый дурак, наорал, напугал. Ведь хотел же все мирным путем уладить. Нет, права Таня, нет в нем всей этой хреновой дипломатии ни на грош. Ну и разбиралась бы сама, раз такая умная...

Валя меж тем покачала головой и сказала едва слышно:

– Не могу я больше... Не могу бояться! Устала! Целых три года шарахаюсь от всех как прокаженная. Да за что мне это, что я такого сделала? Я же не виновата ни в чем, – в голосе ее, напряженном, сдавленном, задрожали слезы, и Иван Павлович совсем потерялся, суровый безжалостный мужик, прошедший фронт, повидавший многое, единственное, чего он не мог выносить – это детского и женского плача. – За что меня отовсюду гонят? – продолжала Валя, словно и не с ним разговаривая, как будто про себя недоумевая. – Я же ничего особенного не хочу... Просто жить, работать, любить... как все...

Она, всхлипнув, закрыла лицо ладонями. Иван Павлович, покряхтев, неловко опустился рядом, на пыльный камень, похлопал ее по спине:

– Ну что ты, что ты, дочка. Будет тебе! Прости ты меня, дурака, ради бога...

Но Валя, не отрывая руки от лица, отпрянула, отчаянно затрясла головой:

– Не извиняйтесь, не жалейте меня! Вы не поняли, я не могу больше бояться. И не хочу! Делайте со мной что хотите, мне плевать! Все равно у меня жизни нет, так чего мне страдиться? Ну, давайте, донесите на меня в НКВД, обвиняйте в чем хотите. Может, мне и легче будет, если меня арестуют, по крайней мере, самое страшное уже случится. А Сережу я не оставляю. Я люблю его, понимаете вы это? Люблю! Может быть, в первый раз за всю жизнь вот так, по-настоящему. А может, если завтра за мной придут, и в последний. И я не сдамся, хоть режьте!

Она вскинула голову, сжала кулаки, посмотрела на него упрямыми заплаканными синими глазами, и Сафронов понял, что переломить эту с виду хрупкую и беспомощную девушку ему не удастся, что она решилась и будет отстаивать свое до последнего. Все-таки, как командир, он неплохо разбирался в людях.

– Любишь, значит? – тупо переспросил он. – Да что ты понимаешь-то в любви, пигалица? Когда любишь, то своих до последней капли крови защищаешь, стеной за них стоишь, чтобы враг к ним не подобрался. Лучше сам погибнешь, но не допустишь, чтобы с их головы хоть волос упал. А ты что делаешь? Сама погибаешь и мальчишку желторотого с собой утащить хочешь? Разве это любовь? Ты подумай головой-то своей, на что ты его обрекаешь. Он ведь жизни не знает, его мамка до сих пор чуть не с ложечки кормит. Мечтает, самолеты рисует... Я ничего не скажу, Серега у меня хороший парень, честный, порядочный. Он, если уж до того дойдет, всюду с тобой пойдет, и под суд, и на каторгу. Но ты-то, ты-то сама разве такой судьбы ему желаешь, а?

И Валя, словно вмиг утратив всю свою решимость, потерянно опустила глаза, дернула плечами. Брови ее, широкие, отливающие медью, сошлись на переносице, яркие губы страдальчески искривились. И Сафронов понял, что ему удалось-таки достучаться до нее, что он интуитивно нанес верный удар. Что она не станет сознательно губить мальчика, ломать ему жизнь, карьеру, будущее. Лучше отступится, погибнет сама, но его за собой не поволочет.

– Нет, не такой... – дрожащим голосом выговорила она. – Я хочу... я правда очень хочу, чтобы он был счастлив.

Ну слава тебе господи, спас мальчишку! Но облегчения почему-то не наступало, смотреть на эту, безопасную теперь, бледную, погасшую девушку было тяжело. Будто собственными руками сделал что-то подлое, жестокое, бессмысленное, обидел ребенка, погубил птенца...

– Валюша, – он тронул ее за плечо. – Я сочувствую тебе, очень сочувствую, можешь поверить. Но Сережка... Он же с детства мечтал об авиации, сколько он этих самолетов смастерил – не сосчитать. Если ему придется отказаться от своей мечты, он же потом никогда тебе этого не простит. Слова поперек не скажет, а внутри не простит. И ты сама это будешь чувствовать. Прогони ты его от себя, ради бога. А уж я тебя отблагодарю! Если я чем могу тебе помочь, ты только скажи! Если вдруг кто обидит или...

Девушка дернулась, сбросила его руку, вскочила на ноги:

– Не трогайте меня! – прохрипела она, как раненый, озлобленный, потерявший способность соображать от боли зверь. – Не смейте, слышите? Я сделаю то, что вы хотите! Вы обо мне больше не услышите. Только не смейте ко мне прикасаться!

Тяжело дыша, она затравленно обернулась по сторонам и вдруг бросилась бежать, очертя голову, не разбирая дороги, мимо однообразных каменных домиков, сквозь разросшиеся деревья, прочь из поселка. Сафронов, прищурившись, видел, как белый халат мелькает вдалеке, там, где тянулось до горизонта зеленое хлопковое поле. «Ну и хрен с ней!» – сплюнул он. Он занятой человек, командир, такая ответственность, есть у него еще время со всякими малолетками разбираться. Обещала отстать от пацана – и ладно, пусть себе живет как знает.

Он тяжело поднялся и пошел обратно, к машине. Рывкнул на развалившегося в кустах и мирно храпевшего Абдуллаева, залез в кабину и всю дорогу дымил смявшейся в кармане папиросой, хмурился и сплевывал за окно.

Сережа быстро шел по ухабистой поселковой дороге, окидывал цепким взглядом попадавшиеся на пути дома, старался заглянуть за заборы, выискивая тот дом, где Валя снимала угол. Он не видел ее уже три дня, позавчера она не пришла в обычное время в сарай за полем. Просто не пришла, никак не предупредив. Он было решил, что в больнице что-то случилось, смены передвинули, и она не успела ему сказать. Но когда Валя не пришла и сегодня, Сережа забеспокоился. Что с ней? Может, заболела? Лежит одна, без помощи?

Дома мать паковала ему чемодан. Сколько он ни пытался докричаться до нее, что никуда не намерен завтра ехать, она, не слушая, продолжала наглаживать рубашки и аккуратно укладывать брюки. В конце концов он плюнул – пускай трудится, если ей охота, все равно он с места не сдвинется без Вали. Только бы найти ее, выяснить, что случилось.

В больницу соваться он не решился. Мало ли что подумают другие сестры? Стащил из буфета коробку конфет и отправился в поселок, будто бы это мать попросила передать гостинец медсестре, которая его выходила. Босоногий вихрастый мальчишка указал ему дорогу, и вскоре, перемахнув через забор, Сережа уже стоял перед низким кособоким домишкой. Откуда-то из-за кустов в ноги кинулась с лаем косматая грязно-белая собачонка. Он попытался шугануть ее, та же лишь еще громче залилась лаем. На шум из окна выглянула скрюченная, чернявая старушонка, сердито забормотала что-то, скрылась в доме, а затем во двор вышла Валя.

Она, казалось, только что проснулась – застиранный ситцевый халатик с прорехой на плече застегнут криво, огненные волосы она на ходу заплетала в косу. Сережа впервые увидел ее такой, сонной, теплой, и у него перехватило дыхание. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что разросшиеся у забора кусты скрывают их от посторонних глаз, он протянул к ней руки, но Валя нахмурилась, отстранилась.

– Что случилось? – обиженно спросил он. – Я тебя чем-то обидел?

– Нет, Сережа, – покачала она головой. – Просто я решила... Ну, в общем, давай все закончим.

Его словно оглушило, будто грохнуло что-то над головой. Он даже невольно поднял глаза – не приближается ли гроза, но небо над головой было синим, радостным, бездонным. Как будто насмеялось над ним, отрицая только что свершившуюся беду.

– Как так – закончим? – не поверил он. – Почему? Что я такого сделал?

– Ты ничего не сделал, Сережа. Ты просто... опоздал родиться, понимаешь? Тебе семнадцать, тебе еще в самолетики свои играть и играть. А мне двадцать три. Мне о семье пора думать, о детях. Мы разные люди, вот и все.

– Но ты же... ты же сама говорила... – слова путались и теснились в голове, сердце выпрыгивало и билось в горле. – Ты же хотела, хотела со мной уехать!

– Ну... передумала, – пожала плечами Валя. – С женщинами такое бывает. Ты еще узнаешь потом.

Он вглядывался в ее такое родное, любимое лицо и не узнавал. Откуда вдруг появилась эта складка, кажется, навечно залегшая между бровями, почему ее глаза, честные, открытые, как будто прячутся от него? Что происходит, в конце концов?

– Валя, но почему?... – голос прервался. Он испугался, что сейчас расплачется, как мальчишка, кашлянул, машинально сжал ладонью горло, проглотил тугой комок. – Да к черту возраст, к черту все самолеты на свете. Я работать пойду, я буду заботиться о тебе! Хочешь ребенка – да пожалуйста, хоть завтра. Я же сильный, я смогу вас прокормить!

Он подступал к ней, но Валя отпихивала его руки, трясла головой, бормотала:

– Нет, нет, Сережа, нет. Уходи, пожалуйста! А лучше уезжай учиться. У тебя когда поезд, завтра? Вот и прекрасно, поезжай!

– Да что с тобой? – выкрикнул он наконец.

– Тише! Не ори! – воровато оглянувшись на окна Валя.

– У тебя там есть кто-то? – сообразил он. – Кто он? Кто? Отвечай!

Он решительно направился к дому, Валя пыталась остановить его, вцепилась в локоть, всем телом повисла на руке. Он, отталкивая ее, ринулся к крыльцу. Дощатая дверь распахнулась, и из дома вышел, позевывая и потирая свешивающийся над форменными суконными штанами волосатый живот, капитан Шевчук.

– Что за шум, а драки нет? – лениво спросил он. – А, это ты, сын полка? Тебе чего?

– Это, Коля, Сережа мне конфеты принес, мать передала, – залепетала вдруг Валя, выхватив из его скрюченных пальцев глянцевою коробку. – За уколы отблагодарить. А я брату не хочу.

– А че так? – повел мохнатыми усами Шевчук. – Бери, не ломайся, раз дают. Мы-то с тобой небось не миллионеры, от халявных харчей отказываться. Давай сюда свои сласти, Сергуня, да батьку не забудь поблагодарить. Ну бывай, я пойду придавлю еще, чей-то разморило.

Он снова зевнул, потянулся, выставив на обозрение клочки свалывшейся темной шерсти под мышками, и вернулся в дом.

Сережа, побелевший от отвращения, дрожащий, обернулся к Вале:

– Так ты с ним? С этим... боровом? Так же, как со мной?

Валя стояла, опутив голову, не в силах поднять на него глаза, лишь молча развела руками. Голова закружилась, кровь ударила по глазам. Врала, все время врала... Играла с ним, как с щенком, а сама и не собиралась никуда с ним ехать, только и думала, как бы выгоднее продать свою молодость и красоту. Конечно, Шевчук-то мужик домовитый, зажиточный, солидней муж получится, чем вчерашний школьник. Но неужели же... Неужели и он вот так же целовал ее, прикасался к ее коже, груди, телу? Господи, какая мерзость!

Сережа понял, что не сможет больше этого вынести, убьет ее, уничтожит, сотрет с лица земли, только бы не видеть больше никогда эту склоненную, увенчанную огненной короной голову, эти губы, которые целовали его, шептали такое, что дышать становилось больно, а оказалось, так беззастенчиво, омерзительно лгали.

– Тварь! – заорал он. – Сволочь! Дрянь последняя! Я ненавижу тебя! Я убью тебя, сука!

Он схватил ее за плечи, рванул, словно издали слыша треск рвущейся, расходящейся под пальцами старой выношенной ткани. Голова ее качнулась, в глазах, синих, измученных, больных, закружилось летнее небо. Рыча что-то невнятное, нечленораздельное, почти давясь исступленным рыданием, он ударил ее по лицу, по губам. Валя вскрикнула, собачонка снова залилась лаем. Что-то хлопнуло за спиной, и какая-то сила подняла его за шкурку, легко, как щенка, оторвала от земли. Он ничего не видел, все двоилось перед глазами, плыло красным маревом.

– Ты что сказал, сопляк? – гаркнул над ухом бас Шевчука. – А ну пошел отсюда.

Он отволол его к забору, распахнул калитку и пинком армейского сапога выбросил на улицу. Сережа отлетел в сторону, ткнулся лицом в старую, еще с весны не просохшую протухшую лужу. Дворовые собаки заливались, как бешеные, отовсюду из-за заборов торчали любопытные головы. Он медленно поднялся на ноги, утирая текущую по лицу грязь. Шевчук, красный, сердитый, закрывал калитку. Он успел еще на миг рассмотреть Вале – разорванный сарафан, голое золотистое плечо, рассыпавшиеся волосы, кровавый потек у запекшихся губ, и глаза – чужие, усталые, погасшие. А потом калитка захлопнулась.

Через сутки, трясясь в новеньком купейном вагоне, вдыхая незнакомый железнодорожный запах – карбида, металлической пыли, паровозной гари, он прятал лицо в подушку, не желая никого видеть, слышать, знать. Мечтая попросту исчезнуть из этого отвратительного, лживого, продажного, жестокого мира. Боль, раздиравшая его нутро, казалось, не кончится никогда, сожрет его живьем. Изредка он засыпал, но и это не приносило облегчения, потому что во сне приходила Валя.

– Ты не болен, мальчик? – спросила его заботливая пожилая попутчица.

Он помотал головой, не оборачиваясь.

– Да оставьте вы его, тут же первая трагическая любовь, сразу видно, – хохотнул остряк с газетой «Советский спорт».

– Эх, счастливый, – отозвался кто-то. – Молодость, молодость...

Ему казалось, что эти люди издеваются, смеются над его горем, ничего не понимают. Если бы кто-то из них сказал, что уже через две недели после окончания вступительных экзаменов он, счастливый студент первого курса летного училища, будет залихватски глушить вместе с новыми друзьями дешевый портвейн, а все старое, прежняя жизнь, пыльный гарнизон, школа, Валя будут казаться ему давно забытым сном, он бы ни за что не поверил.

– Значит, вы узнали правду только через много лет? – спросила сиделка.

– Да, – кивнул он, – мне уж было под тридцать. Родители тогда переехали к нам, в Москву. Отца так и не перевели поближе, несмотря на надежды матери, и они смогли перебраться к нам, только когда отец ушел в отставку. Был какой-то праздник, день рождения Шуры, что ли... Ох, мы и дали жару с ним в тот раз, оба вспыльчивые, горячие. Разорались страшно: «Кто тебя просил лезть в мою жизнь, полковник хренов?» – «Да если б не я, из тебя бы ничего в жизни не вышло, пустое место!» Жена с кухни прибежала, мать на всякий случай столовые ножи попрятала, – он усмехнулся. – Только тогда я понял, наконец, почему она так со мной поступила... Понял, что она не врала, что, должно быть, и правда любила меня, раз решила отступить, чтобы не ломать мне жизнь...

– И что же вы сделали? – поинтересовалась Валя.

– Ничего, – пожал плечами он. – А что я мог сделать?

– Ну, например, попробовать ее найти...

– Да что вы, столько лет ведь прошло, – махнул рукой он. – У меня уже была жена, дети, у нее, наверное, тоже... Да и зачем?

– Ну хотя бы для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этой истории, – предположила Валя. – Раз уж она столько лет не дает вам покоя. Не знаю, можно же как-то послать запрос по месту жительства... Просто из интереса хотя бы...

– Черт его знает... – смешался он. – Может быть, мне не хотелось ничего о ней знать... все-таки она очень жестоко со мной обошлась... Ведь не маленькая, должна была понимать, что насильно причинить добро нельзя. Могла же сказать все как есть...

– Тогда бы вы ни за что не уехали, – возразила Валя. – Вас следовало ударить как можно сильнее, чтобы заставить отступить.

– Это в вас женская солидарность говорит, – улыбнулся он. – А может, мне страшно было... Представляете, через столько лет встретиться, можно сказать, со своей юностью. Не всякая психика выдержит...

– А мне кажется, мучиться неизвестностью тяжелее, – упрямо стояла на своем Валя. – Впрочем, сейчас, наверное, уже и в самом деле поздно... Прошлое не вернешь, не переиграешь.

Валя поднялась на ноги, отошла к плите и начала разогревать обед – грохнула о плиту чугунная сковородка, зашипело масло.

– Валя! – позвал он. – Мы с вами как-то ударились в воспоминания и отвлеклись от главного... Вы упрекнули меня в том, что я обращаюсь не к вам, а к той, давно забытой женщине. Это не так... Мне нужны именно вы, я так сроднился с вами за эти месяцы. И мне... мне бы невыносимо было вас потерять.

Чудовищно раздражало, что он не видит выражения ее лица. Какие эмоции вызывают в ней его слова? Может быть, досаду, нетерпение – ишь, привязался надоедливый калечный старик? Или... Черт, хоть бы на секунду взглянуть в ее глаза...

– Я никуда не собираюсь уходить, – сдержанно отозвалась она. – Тем более мне заплачено до девятнадцатого мая...

– Валя, я же не об этом, вы понимаете! – настаивал он. – Может быть, вам неприятно, все-таки я человек больной, искалеченный. Я даже не представляю, как сейчас выглядит мое лицо, может быть, оно безобразно, отталкивающе... Тогда вы просто скажите, и я никогда больше вас не побеспокою...

Она помолчала несколько мгновений. Слышно было только, как тоненько стучит чайная ложка о фарфор чашки.

– Сергей Иванович, вы очень мне... симпатичны... – с трудом выговорила наконец она. – И я... это неэтично, непрофессионально, я не должна так говорить... Но я и в самом деле отношусь к вам не совсем так, как следует относиться к обычному пациенту...

Он шагнул к ней, схватил за руку, хотел сказать что-то, но она прервала его:

– Я прошу вас, давайте не будем ни о чем говорить сейчас. Вы еще не совсем здоровы, от шока не отошли, сами признаетесь, что запутались... Вы ведь меня совсем не знаете, возможно, просто привыкли за эти недели, что я все время рядом. Давайте не будем спешить и не станем ни о чем загадывать наперед, время покажет.

– Хорошо, – покорно отступил он. – Хорошо... Но я не изменю своего мнения, вот увидите. И мне... мне кажется, что я знаю вас. Знаю давно!

– Давайте-ка лучше обедать, – примирительно сказала она. – Мясо сегодня удалось на славу!

Он втянул носом воздух, вдыхая пряный, густой запах тушеной баранины.

– М-м-м, пахнет вкусно! А что это за специи вы такие добавили? Что-то мне напоминает их аромат...

– Это зира, – отозвалась она. – Здесь, в Москве, ее редко используют. А я привыкла, когда жила в Средней Азии.

Он вздрогнул, повернулся на звук ее голоса. Перед глазами все так же мертво качалась темнота. Наваждение какое-то! Все совпадает, все! Средняя Азия, погибший на войне старший брат, репрессированный отец... И волосы у нее такие же пышные и вьющиеся, и фигурка миниатюрная и хрупкая, еще и медсестра! Разве такое бывает случайно? Неужели это она, та девушка, в которую он был так мучительно, так неловко и отчаянно влюблен когда-то? Но почему она все отрицает? Издевается? Или боится встречи с прошлым? Если бы только он мог видеть, если бы мог видеть! Он бы узнал ее, даже такую, постаревшую, прожившую долгую жизнь без него. Непременно узнал бы!

– Ну что же вы? – окликнула его Валя. – Давайте к столу! Все остывает.

И он, растерянный, смятенный, опустился на табуретку и, нашарив на столе вилку, принялся без аппетита жевать пряное, остро пахнущее специями мясо.

– Ну что, батя, собрался? – Гришин голос раздавался от входной двери. Сергей Иванович подошел к дверному проему, напряг глаза. Показалось, будто бы смог различить рядом с дверью смутный силуэт, какое-то последовательное движение. Что это он делает? Причесывается у зеркала? Боже мой, неужели вижу?

– Да, Валентина Николаевна помогла мне упаковать вещи для больницы, вот там, на тумбочке сумка, – ответил он.

– Ага, хорошо, сейчас спущу ее вниз, в машину, и поедем, – отозвался Гриша. – Кстати, все хотел спросить, чего там Шура так разорвалась насчет твоей сиделки? Ты жениться, что ли, задумал на старости лет? – он хохотнул.

– Не твоё дело! – резко бросил Сергей Иванович.

– Да ладно, ладно, мне-то что, – миролюбиво протянул Гриша. – Я же непрактичный разгильдяй, так, кажется, вы с мамой всегда считали? Это Шура у нас практичная и предусмотрительная. Вот и беспокоится, что драгоценные квадратные метры каким-нибудь чужим внукам достанутся.

– А вы с Шурой уже наследство подсчитываете? Не рано ли? – съязвил он. – Я на тот свет пока не собираюсь.

– Конечно, – обиделся Гриша. – Мы ведь именно для того тебя и выхаживали, чтоб к наследству поскорее подобраться. Ты б думал, что говоришь, пап.

– Ну ладно, – скупно бросил он, – не злись. Я вам с сестрой благодарен. Такой уж у меня характер въедливый.

– Да знаем мы все про твой характер, – усмехнулся Гриша. – Ну, а куда денешься-то? Родителей не выбирают, – он засмеялся и подхватил с тумбочки сумку. – Ладно, папеч, я сейчас вещи спущу и за тобой поднимусь. Обувайся пока.

Входная дверь за ним захлопнулась. Сергей Иванович, двигаясь на свет, прошел в кухню. Окно здесь было распахнуто настежь, со двора слышались радостные весенние звуки – гомонили дети, тихо звеня, проехал чей-то велосипед, хлопали на свежем майском ветру форточки. Пахло теплом, нагретым солнцем асфальтом, зеленью. Мерно ударяясь в стекло, жужжала муха, тоже совсем по-весеннему.

Сафронов остановился в дверях кухни, изо всех сил всматриваясь, вглядываясь в чуть посветлевшее пространство. Различил какое-то движение у окна, сильнее напряг глаза и, казалось, рассмотрел, увидел движущуюся в луче света хрупкую, миниатюрную женщину с небрежно заколотой копной ярких янтарно-рыжих волос.

– Валя, вы здесь? – позвал он.

– Да, чашку вам забыла положить, вот, заворачиваю, – отозвалось видение.

Он не мог различить ее лица, но уверен был, ни секунды больше не сомневался, что перед ним – именно она, та самая смертельно напуганная, из последних сил сохраняющая задор и удаль девчонка. Дыхание перехватило, сердце пропустило удар и ухнуло куда-то вниз. Он судорожно уцепился за дверной косяк.

– Нервничаете? – обернулась к нему она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.